

ИЛДФ *ИЛДЯ* ®



ВЕСЕЛЯЩАЯСЯ ЕДИНИЦА

ЕВГЕНИИ

ПЕТРОВ

Илья Ильф

**Собрание сочинений в пяти томах.
Том 3. Веселящаяся единица**

«РИПОЛ Классик»

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

Ильф И.

Собрание сочинений в пяти томах. Том 3. Веселящаяся единица /
И. Ильф — «РИПОЛ Классик»,

ISBN 978-5-521-00404-1

В третий том Собрания сочинений Ильфа и Петрова включены рассказы, фельетоны, статьи и речи, написанные в 1932-1937 годах, а также водевили и киносценарии знаменитого дуэта. Вместо предисловия приводится очерк актера и режиссера И. В. Ильинского.

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос-Рус)

ISBN 978-5-521-00404-1

© Ильф И.
© РИПОЛ Классик

Содержание

Игорь Ильинский. Однажды летом	6
Рассказы	9
Здесь нагружают корабль	9
Бронированное место	12
Клооп	14
Счастливый отец	18
Разговоры за чайным столом	20
Чудесные гости	23
Разносторонний человек	27
Собачий холод	30
Последняя встреча	33
Широкий размах	37
Лентяй	40
Интриги	43
Колумб причаливает к берегу	45
Добродушный Курятников	50
Фельетоны, статьи, речи	53
В золотом переплете	53
Мне хочется ехать	55
Сделал свое дело и уходи	57
Человек в бутсах	59
Пятая проблема	62
Горю – и не сгораю	64
Когда уходят капитаны	67
Сквозь коридорный бред	71
Детей надо любить	74
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Илья Ильф, Евгений Петров
Собрание сочинений в пяти томах.
Том 3. Веселящаяся единица

© Ильинский И. В., наследники, предисловие, 2017

© Катаев В. П., соавтор киносценария «Под куполом цирка», наследники, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Пальмира», АО «Т8 Издательские Технологии»,
2017

Игорь Ильинский. Однажды летом

Сценарий И. Ильфа и Е. Петрова «Однажды летом!», написанный ими в конце 20-х годов, после выхода «Двенадцати стульев» и «Золотого тельца», представлял собой для актера нечто весьма заманчивое. А мне еще предстояло быть занятым в будущем фильме не только в качестве актера, но и принять участие в режиссерской работе. Предполагалось, что картина будет сниматься в Киеве, в «Украинфильме».

Вот в связи со всем этим я и оказался в Нащокинском переулке, в тихом Пречистенском районе Москвы. Чем-то уютным и родным повеяло на меня от этого тихого переулочка и от дома, куда мне предстояло войти, – может быть оттого, что находился он неподалеку от места, где я провел свои детские и гимназические годы.

Скромная писательская надстройка на старом московском доме была по тому времени высшей радостью, о какой могли мечтать многие наши писатели. И, главное, – маленькие, только что полученные квартирны Ильфа и Петрова были «отдельными». В крохотных своих кабинетиках писатели чувствовали, судя по всему, прилив творческих сил, их наконец посетило чувство устроенности и душевного уюта.

Книжные полки в квартире Петрова были завалены «Двенадцатью стульями» и «Золотыми тельцами» чуть ли не на всех языках мира. Меня поразило тогда, как быстро приобрели наши молодые писатели мировую известность. Помню, что это было для меня неожиданно.

Пришел я в тот день именно в квартиру Петрова, и это было не случайно, потому что Евгений Петрович – человек живой и деятельный, – как мне показалось, являл собою деловое и представительное начало содружества «Ильф и Петров».

С Евгением Петровичем и началась деловая беседа, касавшаяся организационной стороны нашего дела. А когда пришел Илья Арнольдович, мы занялись обсуждением и исправлением некоторых эпизодов сценария.

Поначалу мне почудилась в Ильфе какая-то сдержанность. Казалось, Петров захватил творческую инициативу, первенствовал в выдумке, смелее фантазировал, предлагая все новые и новые варианты. Ильф не проявлял такой активности. Но то ли в дальнейших встречах, то ли уже в конце первой, я понял, что писатели составляют одно нераздельное целое. Ильф неизменно направлял неумную фантазию Петрова в нужное русло, отсекая все второстепенное и менее важное, а та необыкновенная тонкость, которую он привносил в их работу, и те мелочи, которые добавлял от себя, озаряли и обогащали необычайным светом задуманную сцену. Петров со своей стороны безоговорочно принимал великолепные поправки и добавления Ильфа и сам вдохновлялся этими находками в новых порывах своей фантазии. Мне нравилось, что работа шла непринужденно и быстро: целые сцены и очень существенные поправки в придуманных прежде сочинялись здесь же, при мне и режиссере, иногда приходившем со мной. А когда нам случалось с чем-то не согласиться, в добрых глазах Петрова появлялось выражение задумчивости, и, видимо осознав фальшь или искусственность сцены, он бросал взгляд на Ильфа. Чаще всего тот добродушно кивал головой, подтверждая справедливость критических наших замечаний, и тогда оба они дружно отказывались от своего предложения и с новым увлечением отдавались поискам нового варианта.

Оба они отличались совершенно особой чуткостью. Очень скоро им уже просто не нужно стало спрашивать о моем мнении или о мнении моего товарища. По нашим глазам и даже по характеру нашего молчания они точно угадывали – увлечены мы или равнодушны к их мыслям и предложениям. Иной раз нам казалось необходимым для поддержания творческого настроения похвалить то, что не особенно нравилось. Но их было трудно обмануть. Через несколько минут они сами возвращались к такой сцене и чаще всего исправляли ее.

Вот, кажется, единственный раз и довелось мне соприкоснуться с Ильфом и Петровым в рабочей, дружеской обстановке. Несколько встреч в единственной совместной творческой работе – и... все. Встречались мы, правда, и после этого, но это были мимолетные встречи в театрах, в общественных местах или на курортах, когда мы ограничивались приветливыми и ласковыми знаками внимания, выражавшими любовь, какую мы питали друг к другу издалека.

Думается мне, что дружба этих писателей была примером творческой верности. Да и только ли творческой?..

В творческих встречах, о которых я упоминал, мне стало ясно, что Ильф и Петров не терпят трескотни, помпезности и шумихи вокруг своих произведений. Помню, как они были огорчены, когда в фильме «Цирк» талантливый режиссер Г. В. Александров сделал в их сценарии целый ряд добавлений и украшений. Богатая «постановочность» картины испугала наших авторов. Они явно хотели, чтобы режиссер держался ближе к их замыслу. По их мнению, Г. В. Александров сделал не тот фильм, о котором они мечтали, – видимо, им казалось, что все в фильме должно быть проще, сдержаннее и скромнее.

Фильм Г. В. Александрова, как и игра Л. П. Орловой имели огромный успех и признание, но авторы и тут, сознавая победу Александрова, упорно отстаивали свою точку зрения, хотя не могли, конечно, не радоваться успеху.

Вот и с нами Ильф и Петров не жалели доводов, чтобы убедить нас делать фильм поскромнее. В то время в кино многие режиссеры, так сказать, «смотрели в будущее». Студенты жили в их фильмах в «шикарных» общежитиях с мраморными бассейнами и белыми роялями, одеты были в ослепительно нарядные костюмы. Скромные рабочие клубы изображались в виде великолепных дворцов с изысканной мебелью. Действительно, через десяток лет кое-что из этого стало реальностью, но в те времена такие фильмы были больше чем «лакировкой действительности».

По ходу действия нашего фильма должна была строиться декорация железнодорожного рабочего клуба.

В киностудии очень хотели, чтобы мы построили рабочий Дворец культуры нового и даже «будущего» типа, но Ильф и Петров категорически настаивали на том, чтобы это был заухудый, летний железнодорожный клуб, обнесенный ветхим забором.

И правильно настаивали. Потому что жульнические махинации заезжего фокусника, шарлатана Сен-Вербуза, были бы совсем неуместны в новом Дворце культуры. Такие типы, как Сен-Вербуз, могли орудовать только в отсталых плохоньких клубиках.

Словом, авторы склонны были скорее снисходительно относиться к режиссерской «бедности», чем к претенциозным, помпезным постановочным излишествам.

Верность авторскому замыслу, достоверность в изображении и игре, даже в самых гротескных моментах сценария, были для них дороже всего.

Увы, фильм наш прошел незаметно, не получил признания, и, может быть, поэтому дальнейшая наша творческая связь оборвалась.

Жизнь неслась быстро, события, самые невероятные, мелькали, обрушивались на нас, заполняли полностью нашу жизнь и делали ее все более стремительной и быстротекущей.

И вот в этом мелькании событий – горестное известие: после поездки по Америке Ильф тяжело заболел. Сообщив мне об этом, Петров заметил, как мне тогда показалось, успокаивая себя самого:

– Он устал, поездка была тяжелая, шутка сказать – через всю страну в автомобиле. Отдохнет, отойдет...

Я вспомнил Ильфа, его крепкую фигуру, румяные щеки, и проникся доверием к словам Петрова. Конечно же пустяки.

Но промчалось еще несколько месяцев – и снова тревожная весть: Ильф серьезно болен. Тяжело это было слышать, но и тут, признаюсь, я не испытал большого беспокойства.

И вдруг совсем скоро: Ильфа не стало.

И еще через несколько времени – вечер памяти Ильфа. Зал студенческого клуба МГУ, переполненный сверх всякой меры. Студенты, профессора, журналисты, рабочие, писатели, артисты. Сцена заполнена друзьями, близкими. Читаются произведения Ильфа и Петрова. Я не исполнял тогда, к величайшему моему сожалению, ни их великолепных фельетонов, ни отрывков из других произведений. Как было показать мою любовь и преклонение перед ушедшим писателем? И взялся читать по книге. Читал плохо... Читал и чувствовал, с какой любовью, с каким благоговейным вниманием впитывает зал каждое слово любимых своих писателей.

И долго потом я не мог отделаться от мысли: Петров осиротел... Как же он теперь будет работать?

И вот Вторая мировая война... И неожиданно в вихре событий мы услышали голос Петрова.

В его фронтовых корреспонденциях меня восхитили замечательные, умные строки о том, что в этой войне побеждает и победит не тупой и точный гитлеровский план войны, а план и порядок, составленный с учетом хаоса и неожиданностей беспорядка в военных событиях. Мне послышались здесь развитые и обобщенные толстовские мысли об Аустерлицком сражении и об абсурдности точного учета событий на поле боя... И мне стало ясно, что Петров и без Ильфа остается большим и умным писателем, который долго еще будет радовать нас своим творчеством.

И почти тут же – новое известие: Евгений Петров погиб в прифронтовой полосе во время авиационной катастрофы. Случайно, нелепо, трагически...

Когда-то, в дни юности, Маяковский был для меня примером и образцом нового человека, самым ярким и увлекательным, наиболее полно и цельно отразившим нашу эпоху. Он был солдатом Революции, и перо было его оружием.

Вспоминаешь Ильфа и Петрова, видишь добрые глаза Евгения Петровича, пронизательный, немного иронический взгляд умных и таких же добрых глаз Ильфа, и становится ясно: оба они были «газетчиками» в лучшем и высшем смысле этого слова, такими же непримиримыми, как Маяковский. И их тоже следовало бы назвать солдатами Революции.

Отличительной чертой их творчества была интеллигентность в самом высоком ее понимании и глубокая гуманность. Все силы своего сердца они отдавали борьбе с грязью и пошлостью жизни, не брезгуя самыми «мелкими» поводами для своих фельетонов. И они умели находить в «героях» этих фельетонов то типическое, ту злую силу, которая делала их живучими и помогла всем этим «веселящимся единицам» и «безмятежным тумбам» дожить до нашего времени.

Нынче нам приходится иногда сталкиваться с фельетонами, где вместо обобщенных типических персонажей фигурируют реально существующие лица, действующие под истинными своими именами.

Когда такой «герой» пытается опровергнуть некоторые преувеличения, содержащиеся в фельетоне, ему говорят: вы имеете дело с художественным произведением, и здесь необходима фантазия. Между тем, такая «фантазия» иногда граничит с клеветой и может привести к очень печальным последствиям.

Как далеки были Ильф и Петров от подобных «творческих методов»!

Человек и человеческое достоинство были для Ильфа и Петрова прежде всего и превыше всего. И именно это побуждало их быть гневными, страстными бойцами и беспощадно расправляться с пошлыми, жестокими и тупыми воплощениями чуждого нам мира.

Мне, как актеру, тоже довелось в меру моих сил повоевать с этой нечистью на сцене и на экране, и мне особенно близка и мила эта сторона творчества замечательных наших сатириков.

Рассказы

Здесь нагружают корабль

*Когда восходит луна, из зарослей выходят шакалы.
Стенли. Как я нашел Ливингстона*

Ежедневно собиралось летучее совещание, и ежедневно Самецкий прибегал на него позже всех.

Когда он, застенчиво усмехаясь, пробирался к свободному стулу, собравшиеся обычно обсуждали уже третий пункт повестки. Но никто не бросал на опоздавшего негодующих взглядов, никто не сердился на Самецкого.

– Он у нас крепкий, – говорили начальники отделов, их заместители и верные секретари. – Крепкий общественник.

С летучего совещания Самецкий уходил раньше всех. К дверям он шел на цыпочках. Краги его сияли. На лице выражалась тревога.

Его никто не останавливал. Лишь верные секретари шептали, своим начальникам:

– Самецкий пошел делать стеннуху. Третий день с Ягуар Петровичем в подвале клеят.

– Очень, очень крепкий работник, – рассеянно говорили начальники.

Между тем Самецкий озабоченно спускался вниз.

Здесь он отвоевал комнату, между кухней и месткомом, специально для общественной работы. Для этого пришлось выселить архив, и так как другого свободного помещения не нашли, то архив устроился в коридоре. А работника архива, старика Пчеловзводова, просто уволили, чтоб не путался под ногами.

– Ну, как стенновочка? – спрашивал Самецкий, входя в комнату.

Ягуар Петрович и две девушки ползали по полу, расклеивая стенгазету, большую, как артиллерийская мишень.

– Ничего стеннушка, – сообщал Ягуар Петрович, поднимая бледное отекавшее лицо.

– Стеннуля что надо, – замечал и Самецкий, полюбовавшись работой.

– Теперь мы пойдем, – говорили девушки, – а то нас и так ругают, что мы из-за стенгазеты совсем запустили работу.

– Кто это вас ругает? – кипятился Самецкий. – Я рассматриваю это как выпад. Мы их продернем. Мы поднимем вопрос.

Через десять минут на третьем этаже слышался голос Самецкого:

– Я рассматриваю этот возмутительный факт не как выпад против меня, а как выпад против всей нашей советской общественности и прессы. Что? В служебное время нужно заниматься делом? Ага. Значит, общественная работа, по-вашему, не дело? Товарищи, ну как это можно иначе квалифицировать, как не антиобщественный поступок!

Со всех этажей сбегались сотрудники и посетители.

Кончалось это тем, что товарищ, совершивший выпад, плачущим голосом заверял всех, что его не поняли, что он вообще не против и что сам всегда готов. Тем не менее справедливый Самецкий в следующем номере стенгазеты помещал карикатуру, где смутьян был изображен в самом гадком виде – с большой головой, собачьим туловищем и надписью, шедшей изо рта: «Гав, гав, гав!»

И такая принципиальная непримиримость еще больше укрепляла за Самецким репутацию крепкого работника.

Всех, правда, удивляло, что Самецкий уходил домой ровно в четыре. Но он приводил такой довод, с которым нельзя было не согласиться.

– Я не железный, товарищи, – говорил он с горькой усмешкой, из которой, впрочем, явствовало, что он все-таки железный, – надо же и Самецкому отдохнуть.

Из дома отдыха, где измученный общественник проводил свой отпуск, всегда приходили трогательнейшие открытки:

«Как наша стеннущечка? Скучаю без нее мучительно. Повел бы общественную работу здесь, но врачи категорически запретили. Всей душой стремлюсь назад».

Но, несмотря на эти благородные порывы души, тело Самецкого регулярно каждый год опаздывало из отпуска на две недели.

Зато по возвращении Самецкий с новым жаром вовлекал сотрудников в работу.

Теперь не было прохода никому. Самецкий хватал людей чуть ли не за ноги.

– Вы слабо нагружены! Вас надо малость подгрузить! Что? У вас партийная нагрузка, учеба и семинар на заводе? Вот, вот! С партийного больше и спрашивается. Пожалуйста, пожалуйста в кружок балалаечников. Его давно надо укрепить, там очень слабая прослойка.

Нагружать сотрудников было самым любимым занятием Самецкого.

Есть такая игра. Называется она «нагружать корабль». Играют в нее только в часы отчаянной скуки, когда гостей решительно нечем занять.

– Ну, давайте грузить корабль. На какую букву? На «М» мы вчера грузили. Давайте сегодня на «Л». Каждый говорит по очереди, только без остановок.

И начинается галиматья.

– Грузим корабль лампами, – возглашает хозяин.

– Ламбрекенами! – подхватывает первый гость.

– Лисицами!

– Лилипутами!

– Лобзиками!

– Локомотивами!

– Ликерами!

– Лапуасцами!

– Лихорадками!

– Лоханками!

Первые минуты нагрузка корабля идет быстро. Потом выбор слов становится меньше, играющие начинают тужиться. Дело движется медленнее, а слова вспоминаются совсем дикие. Корабль приходится грузить:

– Люмпен-пролетариями!

– Лимитрофами!

– Лезгинками!

– Ладаном!

Кто-то пытается загрузить корабль Лифшицами. И на этом игре конец. Возникает дурацкий спор: можно ли грузить корабль собственными именами?

Самецкий испытывал трудности подобного же рода.

Им были организованы все мыслимые на нашей планете самодетельные кружки. Помимо обыкновенных, вроде кружка проф-знаний, хорового пения или внешней политики, числились еще в отчетах:

Кружок по воспитанию советской матери.

Кружок по переподготовке советского младенца.

Кружок – «Изучим Арктику на практике».

Кружок балетных критиков.

Достигнув таких общественных высот, Самецкий напрягся и неожиданно сделал еще один шаг к солнцу. Он организовал ночную дежурку под названием: «Скорая помощь пожилому служащему в ликвидации профнеграмотности. Прием с двенадцати часов ночи до шести часов утра».

Диковинная дежурка помещалась в том же подвале, где обычно клеили стенгазету.

Здесь дежурили по ночам заметно осунувшиеся, поблекшие девушки и Ягуар Петрович. Ягуар Петрович совсем сошел на нет. Щек у него уже почти не было.

В ночной профилакторий никто не приходил. Там было холодно и страшно.

Все-таки неугомонный Самецкий сделал попытку нагрузить корабль еще больше.

Самецкий изобрел карманную стенгазету, которую ласкательно назвал «Стеннушка-карманушка».

– Понимаете, я должен довести газету до каждого сотрудника. Она должна быть величинной в визитную карточку. Она будет роздана всем. Вынул газету из жилетного кармана, прочел, отреагировал и пошел дальше. Представляете себе реажаж!..

Вся трудность заключалась в том, как уместить на крошечном листке бумаги полагающийся материал: и статью о международном положении, и о внутриучрежденской жизни, и карикатуру на одного служащего, который сделал выпад, одним словом – все.

Спасти положение мог только главный бухгалтер, обладавший бисерным почерком.

Но главный бухгалтер отказался, упирая на то, что он занят составлением годового баланса.

– Ну, мы это еще посмотрим, – сказал Самецкий, – я это рассматриваю как выпад.

Но здесь выяснилось, что Самецкий перегрузил свой корабль.

– Чем он, собственно, занимается? – спросили вдруг на летучем совещании.

– Ну, как же! Крепкий общественник. Все знают.

– Да, но какую работу он выполняет?

– Позвольте, но ведь он организовал этот... ну, ночной колумбарий, скорая помощь, своего рода профсоюзный Склифосовский... И потом вот... переподготовка младенцев. Даже в «Вечёрке» отмечали...

– А должность, какую он занимает должность?

Этого как раз никто не знал. Кинулись к ведомости на зарплату.

Там было весьма кратко и неопределенно:

«Самецкий – 360 рублей».

– Туманно, туманно, – сказал начальник, – ах, как все туманно! Конечно, Склифосовский Склифосовским, но для государства это не подходит. Я платить не буду.

И судьба Самецкого решилась. Он перегрузил свой корабль. И корабль пошел ко дну.

1932

Бронированное место

Рассказ будет о горьком факте из жизни Посиделкина.

Беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен.

В общем, произошло то, что уже бывало в истории народов и отдельных личностей, – горе от ума. Дело касается поездки по железной дороге.

Конечная цель усилий Посиделкина сводилась вот к чему: 13 сентября покинуть Москву, чтобы через два дня прибыть в Ейск на целительные купанья в Азовском море. Все устроилось хорошо: путевка, отпуск, семейные дела. Но вот – железная дорога. До отъезда оставалось только два месяца, а билета еще не было.

«Пора принимать экстренные меры, – решил Посиделкин. – На городскую станцию я не пойду. И на вокзал я не пойду. Ходить туда нечего, там билета не достанешь. Там, говорят, в кассах торгуют уже не билетами, а желчным порошком и игральными картами. Нет, нет, билет надо доставать иначе».

Это самое «иначе» отняло указанные уже два месяца.

– Если вы меня любите, – говорил Посиделкин каждому своему знакомому, – достаньте мне билет в Ейск. Жесткое место. Для лежания.

– А для стояния не хотите? – легкомысленно отвечали знакомые.

– Бросьте эти шутки, – огорчился Посиделкин, – человеку надо ехать в Ейск поправляться, а вы... Так не забудьте. На тринадцатое сентября. Наверное же у вас есть знакомые, которые все могут. Да нет! Вы не просто обещайте – запишите в книжечку. Если вы меня любите!

Но все эти действия не успокаивали, – так сказать, не давали полной гарантии. Посиделкин опасался конкурентов. Во всех прохожих он подозревал будущих пассажиров. И действительно, почти все прохожие как-то нервно посматривали по сторонам, словно только на минуту отлучились из очереди за железнодорожными билетами.

«Худо, худо, – думал Посиделкин, – надо действовать решительнее. Нужна система».

Целый вечер Посиделкин занимался составлением схемы. Если бы его сейчас поймали, то, несомненно, решили бы, что Посиделкин – глава большой подпольной организации, занятой подготовкой не то взрыва железнодорожного моста, не то крупных хищений в кооперативах открытого типа.

На бумажке были изображены кружочки, квадратики, пунктирные линии, литеры, цифры и фамилии. По схеме можно было проследить жизнь и деятельность по крайней мере сотни людей: кто они такие, где живут, где работают, какой имеют характер, какие слабости, с кем дружат, кого недолюбливают. Против фамилий партийных стояли крестики. Беспартийные были снабжены нуликами. Кроме того, значились в документе довольно-таки странные характеристики:

«Брунелевский. Безусловно может».

«Никифоров. Может, но вряд ли захочет».

«Мальцев-Пальцев. Захочет, но вряд ли сможет».

«Бумагин. Не хочет и не может».

«Копковладельцев. Может, но сволочь».

И все это сводилось к одному – достать жесткое место для лежания.

«Где-нибудь да клюнет, – мечтал Посиделкин, – главное, не давать им ни минуты отдыха. Ведь это все ренегаты, предатели. Обещают, а потом ничего не сделают».

Чем ближе подходил день отъезда, тем отчаяннее становилась деятельность Посиделкина. Она уже начинала угрожать спокойствию города. Люди прятались от него. Но он пресле-

довал их неумолимо. Он гнался за ними на быстроходных лифтах. Он перегрузил ручную и автоматические станции бесчисленными вызовами.

– Можно товарища Мальцева? Да, Пальцева. Да, да, Мальцева-Пальцева. Кто спрашивает? Скажите – Леля. Товарищ Мальцев? Здравствуйте, товарищ Пальцев. Нет, это не Леля. Это я, Посиделкин. Товарищ Мальцев, вы же мне обещали. Ну да, в Ейск, для лежання. Почему некогда? Тогда я за вами заеду на такси. Не нужно? А вы действительно меня не обманете? Ну, простите великодушно.

Завидев нужного ему человека, Посиделкин, презирая опасность, бросался в самую гущу уличного движения. Скрежетали автомобильные тормоза, и бледнели шоферы.

– Значит, не забудете, – втолковывал Посиделкин, стоя посреди мостовой, – в Ейск, для лежания. Одно жесткое.

Когда его отводили в район милиции за нарушение уличных правил, он ухитрился по дороге взять с милиционера клятву, что тот достанет ему билет.

– Вы – милиция, вы все можете, – говорил он жалобно.

И фамилия милиционера с соответствующим кружочком и характеристикой («Может, но неустойчив») появлялась в страшной схеме.

За неделю до отъезда к Посиделкину явился совершенно неизвестный гражданин и вручил ему билет в Ейск. Счастью не было предела. Посиделкин обнял гражданина, поцеловал его в губы, но так и не вспомнил лица (стольких людей он просил о билете, что упомянуть их всех было решительно невозможно).

В тот же день прибыл курьер на мотоцикле от Мальцева-Пальцева. Он привез билет в Ейск. Посиделкин благодарил, но деньги выдал со смущенной душой.

«Придется один билет продать на вокзале», – решил он.

Ах, напрасно, напрасно Посиделкин не верил в человечество!

Схема действовала безотказно, как хорошо смазанный маузер, выпуская обойму за обоймой.

За день до отъезда Посиделкин оказался держателем тридцати восьми билетов (жестких, для лежання). В уплату за билеты ушли все отпускные деньги и шестьдесят семь копеек бонами на Торгсин.

Какая подлость! Никто не оказался предателем или ренегатом!

А билеты все прибывали. Посиделкин уже прятался, но его находили. Количество билетов возросло до сорока четырех.

За час до отхода поезда Посиделкин стоял на гранитной паперти вокзала и несмелым голосом нищего без квалификации упрасивал прохожих:

– Купите билетик в Ейск! Целебное место – Ейск! Не пожалеете!

Но покупателей не было. Все отлично знали, что билета на вокзале не купишь и что надо действовать через знакомых. Зато приехали на казенной машине Брунелевский, Бумагин и Кошковладельцев. Они привезли билеты.

Ехать Посиделкину было скучно.

В вагоне он был один.

И, главное, беда произошла не оттого, что Посиделкин был глуп. Нет, скорее он был умен. Просто у него были слишком влиятельные знакомые. А чудное правило – покупать билеты в кассе – почему-то было забыто.

Клооп

– Не могу. Остановитесь на минутку. Если я сейчас же не узнаю, что означает эта вывеска, я заболею. Я умру от какой-нибудь загадочной болезни. Двадцатый раз прохожу мимо и ничего не могу понять.

Два человека остановились против подъезда, над которым золотом и лазурью было выведено:

КЛООП

– Не понимаю, что вас волнует. Клооп и Клооп. Прием пакетов с часу до трех. Обыкновенное учреждение. Идем дальше.

– Нет, вы поймите! Клооп! Это меня мучит второй год. Чем могут заниматься люди в учреждении под таким вызывающим названием? Что они делают? Заготавливают что-нибудь? Или, напротив, что-то распределяют?

– Да бросьте. Вы просто зевака. Сидят себе люди, работают, никого не трогают, а вы пристаёте – почему, почему? Пошли.

– Нет, не пошли. Вы лентяй. Я этого так оставить не могу.

В длинной машине, стоявшей у подъезда, за зеркальным стеклом сидел шофер.

– Скажите, товарищ, – спросил зевака, – что за учреждение Клооп? Чем тут занимаются?

– Кто его знает, чем занимаются, – ответил шофер. – Клооп и Клооп. Учреждение как всюду.

– Вы что ж, из чужого гаража?

– Зачем из чужого! Наш гараж, клооповский. Я в Клоопе со дня основания работаю.

Не добившись толку от водителя машины, приятели посоветовались и вошли в подъезд. Зевака двигался впереди, а лентяй с недовольным лицом несколько сзади.

Действительно, никак нельзя было понять придиричивости зеваки. Вестибюль Клоопа ничем не отличался от тысячи других учрежденческих вестибюлей. Бегали курьерши в серых сиротских балахончиках, завязанных на затылке черными ботиночными шнурками. У входа сидела женщина в чесанках и большом окопном тулупе. Видом своим она очень напоминала трамвайную стрелочницу, хотя была швейцарихой (прием и выдача калош). На лифте висела вывесочка «Кепи и гетры», а в самом лифте вертелся кустарь с весьма двусмысленным выражением лица. Он тут же на месте кроил свой модный и великосветский товар. (Клооп вел с ним отчаянную борьбу, потому что жакт нагло, без согласования, пустил кустаря в ведомственный лифт.)

– Чем же они могли бы тут заниматься? – начал снова зевака.

Но ему не удалось продолжить своих размышлений в парадном подъезде. Прямо на него налетел скатившийся откуда-то сверху седовласый служащий и с криком «брынза, брынза!» нырнул под лестницу. За ним пробежали три девушки, одна – курьерша, а другие две – ничего себе – в холодной завивке.

Упоминание о брынзе произвело на швейцариху потрясающее впечатление. На секунду она замерла, а потом перевалилась через гардеробный барьер и, забыв о вверенных ей калошах, бросилась за сослуживцами.

– Теперь все ясно, – сказал лентяй, – можно идти назад. Это какой-то пищевой трест. Разработка вопросов брынзы и других молочнодиетических продуктов.

– А почему оно называется Клооп? – придиричиво спросил зевака.

На это лентяй ответить не смог. Друзья хотели было расспросить обо всем швейцариху, но, не дождавшись ее, пошли наверх.

Стены лестничной клетки были почти сплошь заклеены рукописными, рисованными и напечатанными на машинке объявлениями, приказами, выписками из протоколов, а также различного рода призывами и заклинаниями, неизменно начинавшимися словом «Стой!».

– Здесь мы все узнаем, – с облегчением сказал лентяй. – Не может быть, чтобы из сотни бумажек мы не выяснили, какую работу ведет Клооп.

И он стал читать объявления, постепенно передвигаясь вдоль стены.

– «Стой! Есть билеты на „Ярость“. Получить у товарища Чернобривцевой». «Стой! Кружок шашистов выезжает на матч в Кунцево. Шашистам предоставляются проезд и суточные из расчета центрального тарифного пояса. Сбор в комнате товарища Мур-Муравейского». «Стой! Джемпера и лопаты по коммерческим ценам с двадцать первого у Кати Полотенцевой».

Зевака начал смеяться. Лентяй недовольно оглянулся на него и подвинулся еще немножко дальше вдоль стены.

– Сейчас, сейчас. Не может быть, чтоб... Вот, вот! – бормотал он. – «Приказ по Клоопу № 1891–35. Товарищу Кардонкль с сего числа присваивается фамилия Корзинкль». Что за чепуха! «Стой! Получай брынзу в порядке живой очереди под лестницей, в кооп-секторе».

– Наконец-то! – оживился зевака. – Как вы говорили? Молочнодиетический пищевой трест? Разработка вопросов брынзы в порядке живой очереди? Здорово!

Лентяй смущенно пропустил объявление о вылазке на лыжах за капустой по среднечеммерческим ценам и уставился в производственный плакат, в полупламенных выражениях призывавший клооповцев ликвидировать отставание.

Теперь уже забеспокоился и он.

– Какое же отставание? Как бы все-таки узнать, от чего они отстают? Тогда стало бы ясно, чем они занимаются.

Но даже двухметровая стенгазета не рассеяла тумана, сгустившегося вокруг непонятого слова «Клооп».

Это была зауряднейшая стенгазетина, болтливая, невеселая, с портретами, картинками и статьями, получаемыми, как видно, по подписке из какого-то центрального газетного бюро. Она могла бы висеть и в аптекоуправлении, и на черноморском пароходе, и в конторе на золотых приисках, и вообще где угодно. О Клоопе там упоминалось только раз, да и то в чрезвычайно неясной форме: «Клооповец, поставь работу на высшую ступень!»

– Какую же работу? – возмущенно спросил зевака. – Придется узнавать у служащих. Неудобно, конечно, но придется. Слушайте, товарищ...

С внезапной ловкостью, с какой пластун выхватывает из неприятельских рядов языка, зевака схватил за талию бежавшего по коридору служащего и стал его выспрашивать. К удивлению приятелей, служащий задумался и вдруг покраснел.

– Что ж, – сказал он после глубокого размышления, – я в конце концов не оперативный работник. У меня свои функции. А Клооп что же? Клооп есть Клооп.

И он побежал так быстро, что гнаться за ним было бы бессмысленно.

Хотя и нельзя еще было понять, что такое Клооп, но по некоторым признакам замечалось, что учреждение это любит новшества и здоровый прогресс. Например, бухгалтерия называлась здесь счетным цехом, а касса – платежным цехом. Но картину этого конторского процветания портила дрянная бумажка: «Сегодня платежа не будет». Очевидно, наряду с прогрессом имелось и отставание.

В большой комнате за овальным карточным столом сидело шесть человек. Они говорили негромкими, плаксивыми голосами.

Кстати, почему на заседаниях по культуре всегда говорят плаксивыми голосами?

Это, как видно, происходит из жалости культуриста к самому себе. Жертвуешь всем для общества, устраиваешь вылазки, семейные вечера, идеологическое лото с разумными выигрышами, распределяешь брынзу, джемпера и лопаты – в общем, отдаешь лучшие годы жизни, – и

все это безвозмездно, бесплатно, из одних лишь идейных соображений, но почему-то в урочное время. Очень себя жалко!

Друзья остановились и начали прислушиваться, надеясь почерпнуть из разговоров нужные сведения.

– Надо прямо сказать, товарищи, – замогильным голосом молвила пожилая клооповка, – по социально-бытовому сектору работа проводилась недостаточно. Не было достаточного охвата. Недостаточно, не полностью, не целиком раскачались, размахнулись и развернулись. Лыжная вылазка проведена недостаточно. А почему, товарищи? Потому, что Зоя Идоловна проявила недостаточную гибкость.

– Как? Это я недостаточно гибкая? – завопила ужаленная в самое сердце Зоя.

– Да, вы недостаточно гибкая, товарищ!

– Почему же я, товарищ, недостаточно гибкая?

– А потому, что вы совершенно, товарищ, негибкая.

– Извините, я чересчур, товарищ, гибкая.

– Откуда же вы можете быть гибкая, товарищ?

Здесь в разговор вкрался зевака.

– Простите, – сказал он нетерпеливо, – что такое Клооп? И чем он занимается?

Прерванная на самом интересном месте шестерка посмотрела на дерзких помраченными глазами. Минуту длилось молчание.

– Не знаю! – решительно ответила Зоя Идоловна. – Не мешайте работать, – и, обернувшись к сопернице по общественной работе, сказала рыдающим голосом: – Значит, я недостаточно гибкая? Так, так! А вы – гибкая?

Друзья отступили в коридор и принялись совещаться. Лентяй был испуган и предложил уйти. Но зевака не склонился под ударами судьбы.

– До самого Калинина дойду! – завизжал он неожиданно. – Я этого так не оставлю.

Он гневно открыл дверь с надписью: «Заместитель председателя». Заместителя в комнате не было, а находившийся там человек в барашковой шапке отнесся к пришельцам джентльменски холодно. Что такое Клооп, он тоже не знал, а про заместителя сообщил, что его давно бросили в шахту.

– Куда? – спросил лентяй, начиная дрожать.

– В шахту, – повторила барашковая шапка. – На профработу. Да вы идите к самому председателю. Он парень крепкий, не бюрократ, не головотяп. Он вам все разъяснит.

По пути к председателю друзья познакомились с новым объявлением: «Стой! Срочно получи в месткоме картофельные талоны. Промедление грозит аннулированием».

– Промедление грозит аннулированием. Аннулирование грозит промедлением, – бормотал лентяй в забыты.

– Ах, скорей бы узнать, к чему вся эта кипучая деятельность?

Было по дороге еще одно приключение. Какой-то человек потребовал с них дифпай. При этом он грозил аннулированием членских книжек.

– Пустите! – закричал зевака. – Мы не служим здесь.

– А кто вас знает, – сказал незнакомец, остывая, – тут четыреста человек работает. Всех не запомнишь. Тогда дайте по двадцать копеек в «Друг чего-то». Дайте! Ну, дайте!

– Мы уже давали, – пищал лентяй.

– Ну и мне дайте! – стонал незнакомец. – Да дайте! Всего по двадцать копеек.

Пришлось дать.

Про Клооп незнакомец ничего не знал.

Председатель, опираясь ладонями о стол, поднялся навстречу посетителям.

– Вы, пожалуйста, извините, что мы непосредственно к вам, – начал зевака, – но, как это ни странно, только вы, очевидно, и можете ответить на наш вопрос.

– Пожалуйста, пожалуйста, – сказал председатель.

– Видите ли, дело в том. Ну, как бы вам сказать. Не можете ли вы сообщить нам, – только не примите за глупое любопытство, – что такое Клооп?

– Клооп? – спросил председатель.

– Да, Клооп.

– Клооп? – повторил председатель звучно.

– Да, очень было бы интересно.

Уже готова была раздёрнуться завеса. Уже тайне приходил конец, как вдруг председатель сказал:

– Понимаете, вы меня застигли врасплох. Я здесь человек новый, только сегодня вступил в исполнение обязанностей и еще недостаточно в курсе. В общем, я, конечно, знаю, но еще, как бы сказать...

– Но все-таки, в общих чертах?..

– Да и в общих чертах тоже...

– Может быть, Клооп заготавливает лес?

– Нет, лес нет. Это я наверно знаю.

– Молоко?

– Что вы! Я сюда с молока и перешел. Нет, здесь не молоко.

– Шурупы?

– М-м-м... Думаю, что скорее нет. Скорее, что-то другое.

В это время в комнату внесли лопату без ручки, на которой, как на подносе, лежал зеленый джемпер. Эти припасы положили на стол, взяли у председателя расписку и ушли.

– Может, попробуем сначала расшифровать самое название по буквам? – предложил лентяй.

– Это идея, – поддержал председатель.

– В самом деле, давайте по буквам. Клооп. Кооп-перативно-лесо... Нет, лес нет... Попробуем иначе. Кооперативно-лакокрасочное общество... А второе «о» почему? Сейчас, подождите... Кооперативно-лихоимочное...

– Или кустарное?

– Да, кустарно-лихоимочное... Впрочем, позвольте, получается какая-то чушь. Давайте начнем систематически. Одну минуточку.

Председатель вызвал человека в барашковой шапке и приказал никого не пускать.

Через полчаса в кабинете было накурено, как в станционной уборной.

– По буквам – это механический путь, – кричал председатель. – Нужно сначала выяснить принципиальный вопрос. Какая это организация? Кооперативная или государственная? Вот что вы мне скажите.

– А я считаю, что нужно гадать по буквам, – отбивался лентяй.

– Нет, вы мне скажите принципиально...

Уже покои Клоопа пустели, когда приятели покинули дымящийся кабинет. Уборщица подметала коридор, а из дальней комнаты слышались плаксивые голоса:

– Я, товарищ, чересчур гибкая!

– Какая ж вы гибкая, товарищ?

Внизу приятелей нагнал седовласый служащий. Он нес в вытянутых руках мокрый пакет с брынзой. Оттуда капал саламур.

Зевака бросил на служащего замороченный взгляд и смущенно прошептал:

– Чем же они все-таки здесь занимаются?

Счастливым отец

Товарищ Сундучанский ожидал прибавления семейства. В последние решающие дни он путался между столами сослуживцев и расслабленным голосом бормотал:

– Мальчик или девочка? Вот что меня интересует. Марья Васильевна! Если будет девочка, как назвать?

Марью Васильевну вопрос о продлении славного рода Сундучанских почти не интересовал.

– Назовите Клотильдой, – хмуро отвечала она, – или как хотите. По общественным делам я принимаю только после занятий.

– А если мальчик? – допытывал Сундучанский.

– Извините, я занята, – говорила Марья Васильевна, – у меня ударное задание.

– Если мальчик, – советовал товарищ Отверстиев, – назовите в мою честь – Колей... И не путайся здесь под ногами, не до тебя. Мне срочно нужно вырешить вопросы тары.

Однажды Сундучанский прибежал на службу, тяжело дыша.

– А если двойня, тогда как назвать? – крикнул он на весь отдел.

Служащие застонали.

– О черт! Пристал! Называй как хочешь! Ну, Давид и Голиаф.

– Или Брокгауз и Ефрон. Отличные имена.

Насчет Брокгауза сказал Отверстиев. Он был остряк.

– Вы вот шутите, – сказал Сундучанский жалобно, – а я уже отправил жену в родовспомогательное заведение.

Надо правду сказать, никакого впечатления не вызвало сообщение товарища Сундучанского. Был последний месяц хозяйственного года, и все были очень заняты.

Наконец удивительное событие произошло. Род Сундучанских продлился. Счастливым отец отправился на службу. Уши его горели на солнце.

«Я войду, как будто бы ничего не случилось, – думал он, – а когда они набросятся на меня с расспросами, я, может быть, им кое-что расскажу».

Так он и сделал. Вошел, как будто бы ничего не случилось.

– А! Сундучанский! – закричал Отверстиев. – Ну как? Готово?

– Готово, – ответил молодой отец, зардевшись.

– Ну, тащи ее сюда.

– В том-то и дело, что не ее, а его. У меня родился мальчик.

– Опять ты со своим мальчиком! Я про таблицу говорю. Готова таблица? Ведь ее нужно в ударном порядке сдать.

И Сундучанский грустно сел за стол дописывать таблицу.

Уходя, он не сдержался и сказал Марье Васильевне:

– Зашли бы все-таки. На сына взглянули бы. Очень на меня похож. Восемь с половиной фунтов весит, бандит.

– Три с четвертью кило, – машинально прикинула Марья Васильевна. – Вы сегодня на собрании будете? Вопросы шефства...

– Слушай, Отверстиев, – сказал Сундучанский, – мальчик у меня – во! Совсем как человек: живот, ножки. А также уши. Конечно, пока довольно маленькие. Может, зашел бы? Жена как будет рада!

– Ну, мне пора, – вздохнул Отверстиев. – Мы тут буксир один организуем. Времени, брат, совершенно нет. Кланяйся своей дочурке. – И убежал.

В этот день Сундучанский так никого и не залучил к себе домой полюбоваться на сына.

А время шло. Сын прибавлял в весе, и родители начали даже распускать слух о том, что он якобы сказал «агу», чего с двухнедельным младенцем обычно никогда не бывает.

Но и эта потрясающая новость не вызвала притока сослуживцев в квартиру Сундучанского.

Тогда горемыка отец решился на крайность. Он пришел на службу раньше всех и на доске объявлений вывесил бумажку:

БРИГАДА

по обследованию ребенка Сундучанского начинает работу сегодня, в 6 часов, в квартире т. Сундучанского. Явка тт. Отверстиева, Кускова, Имянинен, Шакальской и Башмакова

ОБЯЗАТЕЛЬНА.

В три часа к Сундучанскому подошел Башмаков и зашептал:

– Слушай, Сундучанский. Я сегодня никак не могу. У меня кружок и потом... жена больна... ей-богу!

– Ничего не поделаешь, – холодно сказал Сундучанский, – все загружены. Я, может, тоже загружен. Нет, брат, в объявлении ясно написано: «Явка обязательна»...

С соответствующим опозданием, то есть часов в семь, члены бригады, запыхавшись, вбежали в квартиру Сундучанского.

– Надо бы поаккуратнее, – заметил хозяин, – ну да ладно, садитесь. Сейчас начнем.

И он вкатил в комнату коляску, где, разинув рот, лежал молодой Сундучанский.

– Вот, – сказал Сундучанский-отец. – Можете смотреть.

– А как регламент? – спросила Шакальская. – Сначала смотреть, а потом задавать вопросы? Или можно сначала вопросы?

– Можно вопросы, – сказал отец, подавляя буйную радость.

– Не скажет ли нам докладчик, – спросил Отверстиев привычным голосом, – каковы качественные показатели этого объекта...

– Можно слово к порядку ведения собрания? – перебила, как всегда, активная Шакальская.

– Не замечается ли в ребенке недопотолстения, то есть недоприбавления в весе? – застенчиво спросил Башмаков.

И машинка завертелась.

Счастливым отец не успевал отвечать на вопросы.

1933

Разговоры за чайным столом

В семье было три человека – папа, мама и сын. Папа был старый большевик, мама – старая домашняя хозяйка, а сын был старый пионер со стриженной головой и двенадцатилетним жизненным опытом.

Казалось бы, все хорошо.

И тем не менее ежедневно за утренним чаем происходили семейные ссоры.

Разговор обычно начинал папа.

– Ну, что у вас нового в классе? – спрашивал он.

– Не в классе, а в группе, – отвечал сын. – Сколько раз я тебе говорил, папа, что класс – это реакционно-феодальное понятие.

– Хорошо, хорошо. Пусть группа. Что же учили в группе?

– Не учили, а прорабатывали. Пора бы, кажется, знать.

– Ладно, что же прорабатывали?

– Мы прорабатывали вопросы влияния лассальянства на зарождение реформизма.

– Вот как! Лассальянство? А задачи решали?

– Решали.

– Вот это молодцы! Какие же вы решали задачи? Небось трудные?

– Да нет, не очень. Задачи материалистической философии в свете задач, поставленных второй сессией Комакадемии совместно с пленумом общества аграрников-марксистов.

Папа отодвинул чай, протер очки полой пиджака и внимательно посмотрел на сына. Да нет, с виду как будто ничего. Мальчик как мальчик.

– Ну, а по русскому языку что сейчас уч... то есть прорабатываете?

– Последний раз коллективно зачитывали поэму «Звонче голос за конский волос».

– Про лошадку? – с надеждой спросил папа. – «Что ты ржешь, мой конь ретивый, что ты шейку опустил?»

– Про конский волос, – сухо повторил сын. – Неужели не слышал?

Гей, ребята, все в поля

Для охоты на

Коня!

Лейся, песня, взвейся, голос.

Рвите ценный конский волос!

– Первый раз слышу такую... м-м-м... странную поэму, – сказал папа. – Кто это написал?

– Аркадий Паровой.

– Вероятно, мальчик? Из вашей группы?

– Какой там мальчик!.. Стыдно тебе, папа. А еще старый большевик... не знаешь Парового! Это знаменитый поэт. Мы недавно даже сочинение писали – «Влияние творчества Парового на западную литературу».

– А тебе не кажется, – осторожно спросил папа, – что в творчестве этого товарища Парового как-то мало поэтического чувства?

– Почему мало? Достаточно ясно выпячены вопросы сбора ненужного коню волоса для использования его в матрацной промышленности.

– Ненужного?

– Абсолютно ненужного.

– А конские уши вы не предполагаете собирать? – закричал папа дребезжащим голосом.

– Кушайте, кушайте, – примирительно сказала мама. – Вечно у них споры.

Папа долго хмыкал, пожимал плечами и что-то гневно шептал себе под нос. Потом собрался с силами и снова подступил к загадочному ребенку.

– Ну, а как вы отдыхаете, веселитесь? Чем вы развлекались в последнее время?

– Мы не развлекались. Некогда было.

– Что же вы делали?

– Мы боролись.

Папа оживился.

– Вот это мне нравится. Помню, я сам в детстве увлекался. Браруле, тур де-тет, захват головы в партере. Это очень полезно. Чудная штука – французская борьба.

– Почему французская?

– А какая же?

– Обыкновенная борьба. Принципиальная.

– С кем же вы боролись? – спросил папа упавшим голосом.

– С лебедевщиной.

– Что это еще за лебедевщина такая? Кто это Лебедев?

– Один наш мальчик.

– Он что, мальчик плохого поведения? Шалун?

– Ужасного поведения, папа! Он повторил целый ряд деборинских ошибок в оценке махизма, махаевщины и механицизма.

– Это какой-то кошмар!

– Конечно, кошмар. Мы уже две недели только этим и занимаемся. Все силы отдаем на борьбу. Вчера был политаврал.

Папа схватился за голову.

– Сколько же ему лет?

– Кому, Лебедеву? Да немолод. Ему лет восемь.

– Восемь лет мальчику, и вы с ним боретесь?

– А как по-твоему? Проявлять оппортунизм? Смазывать вопрос?

Папа дрожащими руками схватил портфель и, опрокинув по дороге стул, выскочил на улицу. Неузвимый мальчик снисходительно усмехнулся и прокричал ему вдогонку:

– А еще старый большевик!

Однажды бедный папа развернул газету и издал торжествующий крик. Мама вздрогнула. Сын сконфуженно смотрел в свою чашку. Он уже читал постановление ЦК о школе. Уши у него были розовые и просвечивали, как у кролика.

– Ну-с, – сказал папа, странно улыбаясь, – что же теперь будет, ученик четвертого класса Ситников Николай?

Сын молчал.

– Что вчера коллективно прорабатывали?

Сын продолжал молчать.

– Изжили наконец лебедевщину, юные непримиримые ортодоксы?

Молчание.

– Уже признал бедный мальчик свои сверхдеборинские ошибки? Кстати, в каком он классе?

– В нулевой группе.

– Не в нулевой группе, а в подготовительном классе! – загремел отец. – Пора бы знать!

Сын молчал.

– Вчера читал, что этого вашего Аркадия, как его, Паровозова не приняли в Союз писателей. Как он там писал? «Гей, ребята, вый дем в поле, с корнем вырвем конский хвост»?

– «Рвите ценный конский волос», – умоляюще прошептал мальчик.

– Да, да. Одним словом: «Лейся, взвейся, конский голос». Я все помню. Это еще оказывает влияние на мировую литературу?

– Н-не знаю.

– Не знаешь? Не жуй, когда с учителем говоришь! Кто написал «Мертвые души»? Тоже не знаешь? Гоголь написал. Гоголь.

– Вконец разложившийся и реакционно настроенный мелкий мистик... – обрадованно забубнил мальчик.

– Два с минусом! – мстительно сказал папа. – Читать надо Гоголя, учить надо Гоголя, а прорабатывать будешь в Комакадемии, лет через десять. Ну-с, расскажите мне, Ситников Николай, про Нью-Йорк.

– Тут наиболее резко, чем где бы то ни было, – запел Коля, – выявляются капиталистические противоре...

– Это я сам знаю. Ты мне скажи, на берегу какого океана стоит Нью-Йорк?

Сын молчал.

– Сколько там населения?

– Не знаю.

– Где протекает река Ориноко?

– Не знаю.

– Кто была Екатерина Вторая?

– Продукт.

– Как продукт?

– Я сейчас вспомню. Мы прорабатывали... Ага! Продукт эпохи нарастающего влияния торгового капита...

– Ты скажи, кем она была? Должность какую занимала?

– Этого мы не прорабатывали.

– Ах, так! А каковы признаки делимости на три?

– Вы кушайте, – сказала сердобольная мама. – Вечно у них эти споры.

– Нет, пусть он мне скажет, что такое полуостров? – кипятился папа. – Пусть скажет, что такое Куро-Сиво? Пусть скажет, что за продукт был Генрих Птицелов?

Загадочный мальчик сорвался с места, дрожащими руками запихнул в карман рогатку и выбежал на улицу.

– Двоечник! – кричал ему вслед счастливый отец. – Все директору скажу!

Он наконец взял реванш.

1934

Чудесные гости

Редакция газеты «Однажды вечером» находилась в смятении. Сотрудники часто выскакивали на лестницу и смотрели вниз, в пролет, уборщицы в неурочное время подметали коридор, ударяя щетками по ногам пробегающих репортеров, а из комнаты, на дверях которой висела табличка «Литературный отдел и юридическая консультация», исходил запах колбасы и слышался отчаянный стук ножей. Там засели пять официантов и метрдотель в визитке. Они резали батоны, раскладывали по тарелкам редиску с зелеными хвостами, колесики лимона и краковскую колбасу. На рукописях стояли бутылки и соусники.

Сотрудники, которые в ожидании банкета нарочно ничего не ели, часто заглядывали в эту комнату и, вдохновившись сверканием апельсинов и салфеток, снова устремлялись на лестницу.

Заведующий литературным отделом стоял перед редактором и, нервно притрагиваясь к своим маленьким усикам, говорил:

– Сейчас у них обед с народными и заслуженными артистами, потом они поедут на завтрак в ЦУНХУ, оттуда минут через десять – на обед со знатными людьми колхозов, а там уже стоит наш человек с машинами, схватит их и привезет прямо сюда закусывать.

– И капитан Воронин будет? – с сомнением спросил редактор.

– Будет, будет. Челюскинцами я редакцию обеспечил. Можете не сомневаться.

– А герои? Смотрите, Василий Александрович!

– Героями я редакцию обеспечил. У нас будут: Доронин, Молоков, Водопьянов и Слепнев.

– Слушайте, а их не перехватят по дороге? Ведь они подъедут со стороны Маросейки, а там в каждом доме учреждение.

– С этой стороны мы тоже обеспечены. Я распорядился. Наш человек повезет их по кольцу «Б», а потом глухими переулками. Привезем свеженькими, как со льдины.

– Ой, хоть бы уж скорей приехали! – сказал редактор. – С едой там все в порядке? Смотрите, они, наверно, голодные приедут.

По телефону сообщили последнюю сводку:

– Выехали из ЦУНХУ, едут к знатым людям.

Известие облетело всю редакцию, и ножи застучали еще сильнее. Метрдотель выгнул грудь и поправил галстучек. На улице возле дома стали собираться дети.

Час прошел в таком мучительном ожидании, какое едва ли испытывали челюскинцы, ища в небе самолетов. Василий Александрович не отрывался от телефона, принимая сообщения.

– Что? Едят второе? Очень хорошо!

– Начались речи? Отлично!

– Кто пришел отбивать? Ни под каким видом! Имейте в виду, если упустите, мы поставим о вас вопрос в месткоме. Может, вам нужна помощь? Высылаем трех на мотоциклетке: Гуревича, Гуровича и Гурвича. Поставьте их на пути следования.

Наконец было получено последнее сообщение:

– Вышли на улицу. Захвачены. Усажены в машины. Едут.

– Едут, едут!

И в ту же минуту в кабинет редактора ворвался театральный рецензент. В волнении он сорвал с себя галстук и держал его в руке.

– Катастрофа! – произнес он с трудом.

– Что случилось?

– Внизу, – сказал рецензент гробовым голосом, – на третьем этаже, в редакции газеты «За рыбную ловлю», стоят банкетные столы. Только что видел своими глазами.

– Ну и пусть стоят. При чем тут мы?

– Да, но они говорят, что ждут челюскинцев. И, главное, тех же самых, которых ждем мы.

– Но ведь челюскинцев везут наши люди.

– Перехватят. Честное слово, перехватят! Мы на четвертом этаже, а они на третьем.

– А мы их посадим в лифт.

– А в лифте работает их лифтерша. Они все учли. Я ее спрашивал. Ей дали приказ везти героев на третий этаж – и никаких.

– Мы пропали! – закричал редактор звонким голосом. – Я же вам говорил, Василий Александрович, что перехватят!

– А я вам еще полгода назад говорил не сдавать третий этаж этой «За рыбную ловлю». Сдали бы тихой Медицинской энциклопедии, теперь все было бы хорошо.

– Кто же знал, что «Челюскин» погибнет! Ай-яй-яй! Пригрели змею на своей груди.

– А какой у них стол! – кипятился рецензент. – Это ведь рыбная газета. Одна рыба. Лососина, осетрина, белуга, севрюга, иваси, копченка, налимыя печень, крабы, селедки. Восемнадцать сортов селедок, дорогие товарищи!

Несчастный редактор газеты «Однажды вечером» взмахнул руками, выбежал на лестницу и спустился на площадку третьего этажа.

Там, как ни в чем не бывало, мелкими шажками прогуливался ответственный редактор газеты «За рыбную ловлю». Он что-то бормотал себе под нос, очевидно репетируя приветственную речь. Из дверей выглядывали сотрудники. От них пахло рыбой.

Сдерживая негодование, редактор «Однажды вечером» сказал:

– Здравствуйте, товарищ Барсук. Что вы тут делаете, на лестнице?

– Дышу воздухом, – невинно ответил рыбный редактор.

– Странно.

– Ничего странного нет. Моя площадка – я и дышу. А вы что тут делаете, товарищ Икапидзе?

– Тоже дышу свежим воздухом.

– Нет; вы дышите свежим воздухом у себя. На площадке четвертого этажа.

– Ой, товарищ Барсук, – проникновенно сказал «Однажды вечером», – придется нам, кажется, встретиться в Комиссии партийного контроля.

– Пожалуйста, товарищ Икапидзе. К вашим услугам. Членский билет номер 1293 562.

– Я знаю, – застонал «Однажды вечером», – вы ждете тут наших челюскинцев.

– Челюскинцы не ваши, а общие, – хладнокровно ответил «За рыбную ловлю».

– Ах, общие!

И редакторы стали надвигаться друг на друга.

В это время внизу затрещали моторы, послышались крики толпы и освещенный лифт остановился на третьем этаже. На площадку вышли герои. Рыбная лифтерша сделала свое черное дело.

«Однажды вечером» бросился вперед, но тут беззастенчивый Барсук стал в позу и с невероятной быстротой запел:

– Разрешите мне, дорогие товарищи, в этот знаменательный час...

Дело четвертого этажа казалось проигранным. Хитрый Барсук говорил о нерушимой связи рыбного дела с Арктикой и о громадной роли, которую сыграла газета «За рыбную ловлю» в деле спасения челюскинцев. Пока Барсук действовал таким образом, «Однажды вечером» нетерпеливо переминался с ноги на ногу, как конь. И едва только враг окончил свое торжественное слово, как товарищ Икапидзе изобразил на лице хлебосольную улыбку и ловко перехватил инициативу.

– А теперь, дорогие гости, – сказал он, отодвигая плечом соперника, – милости просим закусить на четвертый этаж. Пожалуйста, пройдите. Вот сюда, пожалуйста. Что вы стоите на

дороге, товарищ Барсук? Нет, пардон, пропустите, пожалуйста. Сюда, сюда, дорогие гости. Не обессудьте... так сказать, хлеб-соль...

И, ударив острым коленом секретаря «Рыбной ловли», который самоотверженно пытался лечь на ступеньку и преградить путь своим телом, он повел челюскинцев за собой.

Чудесные гости, устало улыбаясь и со страхом обоняя запах еды, двинулись в редакцию вечерней газеты.

В молниеносной и почти никем не замеченной вежливой схватке расторопный Барсук успел все-таки отхватить и утащить в свою нору двух героев и восемь челюскинцев с семьями.

Это заметили, только усевшись за банкетные столы. Утешал, однако, тот радостный факт, что отчаянный Василий Александрович дополнительно доставил на четвертый этаж по пожарной лестнице еще трех челюскинцев: двух матросов первой статьи и кочегара с женой и двумя маленькими детками. По дороге, когда они карабкались мимо окна третьего этажа, рыбные сотрудники с криками: «Исполать, добро пожаловать!» – хватали их за ноги, а Василия Александровича попытались сбросить в бездну. Так по крайней мере он утверждал.

А дальше все было хорошо и даже замечательно. Говорили речи, чуть не плакали от радости, смотрели на героев во все глаза, умоляли ну хоть что-нибудь съесть, ну хоть кусочек. Добрые герои ели, чтоб не обидеть. И на третьем этаже тоже, как видно, все было хорошо. Оттуда доносилось такое сверхмощное ура, что казалось, будто целый армейский корпус идет в атаку.

После речей начались воспоминания, смеялись, пели, радовались. В общем, как говорится, вечер затянулся далеко за полночь.

Так вот, далеко за полночь на нейтральной площадке, между третьим и четвертым этажом, встретились оба редактора. В волосах у них запутались разноцветные кружочки конфетти. Из петлицы Барсука свисала бывшая чайная роза, от которой почему-то пахло портвейном № 17, а Икапидзе обмахивал разгоряченное лицо зеленым хвостиком от редиски. Лица у них сияли. О встрече в Комиссии партийного контроля давно уже не было речи. Они занимались более важным делом.

– Значит, так, – говорил Икапидзе, поминутно наклоняясь всем корпусом вперед, – мы вам даем Водопьянова, а вы нам... вы нам да-е-те Молокова.

– Мы вам Молокова? Вы просто смеетесь. Молоков, с вашего разрешения, спас тридцать девять человек!

– А Водопьянов?

– Что Водопьянов?

– А Водопьянов, если хотите знать, летел из Хабаровска шесть тысяч километров! Плохо вам?

– Это верно. Ладно. Так и быть. Мы вам даем Молокова, а вы нам даете Водопьянова, одного кочегара с детьми и брата капитана Воронина.

– Может, вам дать уже и самого Воронина? – сатирически спросил Барсук.

– Нет, извините! Мы вам за Воронина, смотрите, что даем: Слепнева с супругой, двух матросов первого класса и одну жену научного работника.

– А Доронин?

– Что Доронин?

– Как что? Доронин прилетел из Хабаровска на неотепленной машине. Это что, по вашему, прогулка на Воробьевы горы?

– Я этого не говорю.

– В таком случае мы за Доронина требуем: Копусова, писателя Семенова, двух плотников, одного геодезиста, боцмана, художника Федю Решетникова, девочку Карину и специального корреспондента «Правды» Хвата.

– Вы с ума сошли!.. Где я вам возьму девочку? Ведь это дитя! Оно сейчас спит!

И долго еще эти два трогательных добряка производили свои вычисления и обмены. А обмен давно уже устроили без них. Героев водили снизу вверх и сверху вниз, и вообще уже нельзя было разобрать, где какая редакция.

Ночь была теплая, и на улице, в полярном блеске звезд, возле подъезда обеих редакций в полном молчании ожидала героев громадная толпа мальчиков.

1934

Разносторонний человек

Два человека лежали на постелях в доме отдыха и разговаривали. Был мертвый час, и поэтому они говорили вполголоса.

– Как приятно, – сказал один из них, натягивая простыню на свою мохнатую грудь, – поговорить с интеллигентным человеком. Возьмите, например, нашу науку. Она делает громадные шаги. Разные открытия, изобретения, усовершенствования. Не успеваешь даже за всем уследить.

– Да, – сказал второй, – науке сейчас уделяется большое внимание. Я вот в конце прошлого лета отдыхал в санатории ЦЕКУБУ, и, знаете, удивительно мне там понравилось. Встаешь утром, и сразу тебе первый завтрак: два яичка всмятку, икра, основательная такая пластинка ветчины, обязательно что-нибудь горячее, ну и кофе... Одним словом, очень-очень.

– Откроешь газету, – восторженно вставил первый, – сердце радуется. То золото нашли на Волге, то нефть обнаружили. Какой-нибудь старичок академик, чуть ли не восьмидесяти лет, а мчится в далекую степь, что-то там роет.

– Да, да, вы правы, громадные успехи. В этом ЦЕКУБУ я прибавил восемь кило. Прекрасный санаторий. Чистота идеальная, отличный персонал, обед ровно в два. Время немножко неудобное, но зато какой обед! Холодный борщок, два вторых, мороженое.

Я там полтора месяца провел. Нет, наука – это действительно.

– А искусство? – с горячностью сказал первый. – Какие грандиозные начинания! В одной Москве что делается! Прорубают новые проспекты, возводят величественные здания. И если кто-нибудь раньше сомневался в наших архитекторах, то теперь прямо можно сказать, что они знают свое дело, не отстают от требований эпохи.

– Совершенно верно. Я всегда это говорил. Как раз после ученых я поехал худеть на минеральные воды, именно в дом отдыха архитекторов. Маленький такой домик, а здорово поставлено. Встаешь утром, и подают тебе очень легкий, но необыкновенно вкусный завтрак. Потом идешь к источнику, совершаешь прогулки. Вы знаете, моя жена женщина довольно требовательная, но и ей понравилось. Что вы хотите? Интересное общество, первоклассное питание, души, массажи, по вечерам симфонический оркестр. Вы правы, архитекторы добились больших достижений.

– Или возьмите литературу, – продолжал первый отдыхающий, – возьмите ленинградских писателей. Какая превосходная и увлекательная беллетристика. Например, «Похищение – Европы» Федина. Вам нравится? Правда, замечательно?

– Что там у ленинградских писателей замечательного? Я жил у них в крымском доме отдыха не то в июне, не то в июле. Сбежал через две недели. На завтрак пустой чай с какими-то якобы булочками, да и обед в этом же стиле. Нет, ленинградские писатели мне не нравятся. Вот московские – эти будут получше. У них под Москвой есть творческий дом. Идеальные условия. Каждому дается отдельная творческая ячейка. Мне так понравилось, что я там прожил два месяца, отдыхал после ленинградцев. А жена и до сих пор живет. Встаешь утром, одно удовольствие. Сосны, солнце, ходишь по лесу, собираешь грибы, ну, к завтраку являешься, конечно, с волчьим аппетитом. Да еще трахнешь в своей отдельной творческой ячейке стопочку водки, чтоб никто не видел, и разъяряешься еще больше. Четыре с половиной кило прибавил. Нет, что говорить! Литература у нас совсем не плохая. Вот живопись действительно отстала.

– Почему отстала? – всполошился первый. – А выставка «15 лет Октября»? Я провел там несколько приятных часов.

– Вот именно, что несколько часов. Больше выдержать невозможно. Вы меня извините, но это просто какая-то ночлежка. Понапихали в каждую палату по шесть человек, питание из рук вон, калорийность явно недостаточная. Мы с женой в тот же день уехали, – ну куда

б вы думали? В крестьянский санаторий. Да, да, к крестьянам, к колхозникам. Признаться, когда ехали, у меня с женой сердце сжималось. Ну, думаю, приедем, а там какие-нибудь онучи сушатся, овин строят. Но то, что мы увидели, было черт знает как хорошо. Вы говорите – сдвиги. Конечно, сдвиги! Колоссальные! Встаешь утром: кулебяка, фаршированные яйца, великолепный студень, какао. И это где? В простом колхозном санатории. Мы там прожили три месяца, горя не знали. Выйдешь на пляж, а там уже лежит какая-нибудь премированная доярка Одарка. Вот вам и сельское хозяйство. Вот вам и овин.

Первый отдыхающий беспокойно завертелся под своей простыней и снова попробовал направить разговор по интеллектуальной линии.

– Это не только в сельском хозяйстве, – сказал он. – В промышленности разве мы не видим громадных перемен к лучшему? Возьмите Магнитку, Бобрики, Днепрогэс.

– В днепрогэсовском доме я не был, так что судить не смею. А что касается магнитогорцев, то у них это получается очень недурно. Опытная сестра-хозяйка, горное солнце такое, какого в Берлине не найдете. Встаешь утром – традиционные яички, порядочный бутон сливочного масла и горячие отбивные. Заправишься с утра и уже на весь день получаешь зарядку бодрости. Я там был совсем недавно. Жалко, только один месяц прожили. Не дали нам продления. Старший врач оказался сволочеват.

– Сволочеват? – с испугом спросил первый.

– Со всеми признаками сволочизма, – бодро ответил второй.

Получив такой исчерпывающий ответ, первый отдыхающий немножко помолчал.

– А музыку вы любите? – спросил он упавшим голосом. – Согласитесь с тем, что наши композиторы...

– Позвольте, позвольте! – перебил второй. – Композиторы? Что-то припоминаю. Где же это мы были? В Абас-Тумане? Нет, не в Абас-Тумане. Кажется, в Мисхоре. Вот память проклятая стала. Ага! В Хосте. Теперь я вспомнил. Чепуха ваши композиторы! Копейки не стоят. Страшно подумать, мы с женой жили у композиторов, а продовольствоваться ходили к старым политкаторжанам. Ведь это смех. А почему? Потому что у композиторов кормят отвратительно. Встаешь утром, и сразу тебе тычут в морду колбасу и какие-то помидоры. Даже не говорите мне о композиторах. Слушать не желаю. Вот старые каторжане – это другая музыка. Приходишь к ним утром усталый и озлобленный после ваших композиторов, а там уже все готово. За столом сидят чистенькие старички, у всех под бородами салфеточки, стол уставлен разной едой, никаких нет порций, бери что хочешь, понимаете, хватай что хочешь. Сыновнее отношение персонала. Прибавил там двенадцать кило. И это, принимая во внимание изнурительные ночевки у композиторов! В палатах комары, змеи, сороконожки, чуть ли не россомахи. Фу, мерзость! Если бы не отдых на теплоходе, мы с женой совсем бы пропали.

– Как на теплоходе? – удивился человек с мохнатой грудью.

– Очень просто. Из Батума в Одессу, из Одессы в Батум. Туда и обратно – пять дней. Я шесть круговых рейсов сделал, тридцать дней провел на теплоходе. Прекрасный комбинированный отдых. Что бы ни говорили, а водный транспорт у нас на высоте. Чудная каюта, собственная ванна, встаешь утром и действуешь смотря по погоде. Если качает, начинаешь прямо с коньяка. А если не качает, принимаешься за большую флотскую яичницу из восьми яиц с ветчиной. Морской воздух вызывает сумасшедший аппетит. Это очень полезно для здоровья. Все-таки я немножко перехватил, пришлось поехать в Эссендуки к артистам, сбавить три-четыре кило. Если будете в Эссендуках, обязательно устраивайтесь в доме отдыха артистов, там в шестом корпусе хорошенькая няня. Проситесь прямо в шестой корпус.

Первый отдыхающий ничего уже не говорил, ни о чем не спрашивал. А второй с жаром продолжал:

– Веселые люди эти артисты. Театр у нас действительно лучший в мире. Встаешь утром – анекдоты, истории, сценки. Совершенно неистощимые люди, нахохочешься. Потом идешь обе-

дать. Курятину дают, гусятину, индюшатину, что хочешь. Я сам не артист, но и то с ними разные сценки разыгрывал. Только на бильярде с ними на интерес не беритесь. Артисты здорово играют в пирамидку. Свой шар у них всегда на коротком борту, как ниточкой привязан. Но никогда не приезжайте в Ессентуки зимой. Скучно и паршиво.

Зимой надо ехать в Карелию. Там, возле Петрозаводска, такой санаторий, просто сил нет. Встаешь утром – лыжи, коньки, холодная телятина с горчицей. Прямо скажу, производительные силы окраин растут с каждым днем. Встаешь утром... хотя, кажется, я вам уже говорил, что там дают на завтрак. А самое лучшее, езжайте в совхоз. Я вот кончу здесь курс отдыха и сейчас же со своей семьей поеду в свиновхоз отдыхать. Там у меня директор приятель. Встаешь в свиновхозе утром, и сразу тебе парного молочка из-под коровки, яичек из-под курочки, окорок. Тут же дети, жена, бабушка. Утомляет, конечно, такое, как бы сказать, вечное скитанье. Но, с другой стороны, умственно обогащаешься, начинаешь видеть горизонты. Неправда?

Появилась дежурная сестра и, подав собеседникам по термометру, вышла.

Передовой человек с отвращением сунул термометр под мышку и, наморщившись, спросил:

– Скажите, голубчик... Я, конечно, знаю, но вот нашло какое-то затмение... Чей это дом отдыха?

– Этот?

– Ну да. Этот, в котором мы сейчас находимся.

– Это дом отдыха работников связи.

– Ах, совершенно верно! Работников связи! Я и забыл. Неплохой дом. Ведь какая, казалось бы, чепуха – связь, а вот налаживается. Ну, спите спокойно. Надо набираться сил. Ведь сегодня еще обедать, а в пять часов чай, а в семь – ужин! Все-таки тяжелая жизнь!

1934

Собачий холод

Катки закрыты. Детей не пускают гулять, и они томятся дома. Отменены рысистые испытания. Наступил так называемый собачий холод.

В Москве некоторые термометры показывают тридцать четыре градуса, некоторые почему-то только тридцать один, а есть и такие чудаковатые градусники, которые показывают даже тридцать семь. И происходит это не потому, что одни из них исчисляют температуру по Цельсию, а другие устроены по системе Реомюра, и не потому также, что на Остоженке холоднее, чем на Арбате, а на Разгуляе мороз более жесток, чем на улице Горького. Нет, причины другие. Сами знаете, качество продукции этих тонких и нежных приборов не всегда у нас на несслыханной высоте. В общем, пока соответствующая хозяйственная организация, пораженная тем, что благодаря морозу население неожиданно заметило ее недочеты, не начнет выправляться, возьмем среднюю цифру – тридцать три градуса ниже нуля. Это уж безусловно верно и является точным арифметическим выражением понятия о собачьем холоде.

Закутанные по самые глаза москвичи кричат друг другу сквозь свои воротники и шарфы:

– Просто удивительно, до чего холодно!

– Что ж тут удивительного? Бюро погоды сообщает, что похолодание объясняется вторжением холодных масс воздуха с Баренцева моря.

– Вот спасибо. Как это они все тонко подмечают. А я, дурак, думал, что похолодание вызвано вторжением широких горячих масс аравийского воздуха.

– Вот вы смеетесь, а завтра будет еще холоднее.

– Не может этого быть.

– Уверю вас, что будет. Из самых достоверных источников. Только никому не говорите. Понимаете? На нас идет циклон, а в хвосте у него антициклон. А в хвосте у этого антициклона опять циклон, который и захватит нас своим хвостом. Понимаете? Сейчас еще ничего, сейчас мы в ядре антициклона, а вот попадем в хвост циклона, тогда заплачете. Будет невероятный мороз. Только вы никому ни слова.

– Позвольте, что же все-таки холоднее – циклон или антициклон?

– Конечно, антициклон.

– Но вы сейчас сказали, что в хвосте циклона какой-то небывалый мороз.

– В хвосте действительно очень холодно.

– А антициклон?

– Что антициклон?

– Вы сами сказали, что антициклон холоднее.

– И продолжаю говорить, что холоднее. Чего вы не понимаете? В ядре антициклона холоднее, чем в хвосте циклона. Кажется, ясно.

– А сейчас мы где?

– В хвосте антициклона. Разве вы сами не видите?

– Отчего же так холодно?

– А вы думали, что к хвосту антициклона Ялта привязана? Так, по-вашему?

Вообще замечено, что во время сильных морозов люди начинают беспричинно врать. Врут даже кристально честные и правдивые люди, которым в нормальных атмосферных условиях и в голову не придет сказать неправду. И чем крепче мороз, тем крепче врут. Так что при нынешних холодах встретить вконец изовравшегося человека совсем не трудно.

Такой человек приходит в гости, долго раскутывается; кроме своего кашне, снимает белую дамскую шаль, стаскивает с себя большие дворницкие валенки, надевает ботинки, принесенные в газетной бумаге, и, войдя в комнату, с наслаждением заявляет:

– Пятьдесят два. По Реомюру.

Хозяину, конечно, хочется сказать: «Что ж ты в такой мороз шляешься по гостям? Сидел бы себе дома», – но вместо этого он неожиданно для самого себя говорит:

– Что вы, Павел Федорович, гораздо больше. Днем было пятьдесят четыре, а сейчас, безусловно, холоднее.

Здесь раздается звонок, и с улицы вваливается новая фигура. Фигура еще из коридора радостно кричит:

– Шестьдесят, шестьдесят! Ну, нечем дышать, совершенно нечем.

И все трое отлично знают, что вовсе не шестьдесят, и не пятьдесят четыре, и не пятьдесят два, и даже не тридцать пять, а тридцать три, и не по Реомюру, а по Цельсию, но удержаться от преувеличения невозможно. Простим им эту маленькую слабость. Пусть врут на здоровье. Может быть, им от этого сделается теплее.

Покамест они говорят, от окон с треском отваливается замазка, потому что она не столько замазка, сколько простая глина, хотя в ассортименте товаров значится как замазка высшего качества. Мороз-ревизор все замечает. Даже то, что в магазинах нет красивой цветной ваты, на которую так отрадно взглянуть, когда она лежит между оконными рамами, сторожа квартирное тепло.

Но беседующие не обращают на это внимания. Рассказываются разные истории о холодах и выюгах, о приятной дремоте, охватывающей замерзающих, о сенбернарах с бочонком рома на ошейнике, которые разыскивают в снежных горах заблудившихся альпинистов, вспоминают о ледниковом периоде, о проваливающихся под лед знакомых (один знакомый якобы упал в прорубь, пробарахтался подо льдом двенадцать минут и вылез оттуда целехонек, живехонек и здоровехонек) и еще множество сообщений подобного рода.

Но венцом всего является рассказ о дедушке.

Дедушки вообще отличаются могучим здоровьем. Про дедушек всегда рассказывают что-нибудь интересное и героическое. (Например: «мой дед был крепостным», на самом деле он имел хотя и небольшую, но все-таки бакалейную лавку.) Так вот во время сильных морозов фигура дедушки приобретает совершенно циклопические очертания.

Рассказ о дедушке хранится в каждой семье.

– Вот мы с вами кутаемся – слабое, изнеженное поколение. А мой дедушка, я его еще помню (тут рассказчик краснеет, очевидно, от мороза), простой был крепостной мужик и в самую стужу, так, знаете, градусов шестьдесят четыре, ходил в лес по дрова в одном люстриновом пиджачке и галстук. Каково? Не правда ли, бодрый старик?

– Это интересно. Вот и у меня, так сказать, совпадение. Дедушка мой был большущий оригинал. Мороз этак градусов под семьдесят, все живое прячется в свои норы, а мой старик в одних полосатых трусиках ходит с топором на речку купаться. Вырубил себе прорубь, окунется – и домой. И еще говорит, что ему жарко, душно.

Здесь второй рассказчик багровеет, как видно от выпитого чая.

Собеседники осторожно некоторое время смотрят друг на друга и, убедившись, что возражений против мифического дедушки не последует, начинают взапуски врать о том, как их предки ломали пальцами рубли, ели стекло и женились на молоденьких, имея за плечами – ну как вы думаете, сколько? – сто тридцать два года. Каких только скрытых черт не обнаруживает в людях мороз!

Что бы там ни вытворяли невероятные дедушки, а тридцать три градуса это неприятная штука. Амундсен говорил, что к холоду привыкнуть нельзя. Ему можно поверить, не требуя доказательств. Он это дело знал досконально.

Итак, мороз, мороз. Даже не верится, что есть где-то на нашем дальнем севере счастливые теплые края, где, по сообщению уважаемого бюро погоды, всего лишь десять – пятнадцать градусов ниже нуля.

Катки закрыты, дети сидят по домам, но жизнь идет – доделывается метро, театры полны (лучше замерзнуть, чем пропустить спектакль), милиционеры не расстаются со своими бальными перчатками, и в самый лютей холод самолеты минута в минуту вылетели в очередные рейсы.

1935

Последняя встреча

В курительной комнате Художественного театра во время антракта встретились два человека. Сначала они издали посматривали один на другого, что-то соображая, потом один из них описал большую циркуляцию, чтобы посмотреть на второго сбоку, и, наконец, оба они бросились друг к другу, издавая беспорядочные восклицания, из которых самым оригинальным было: «Сколько лет, сколько зим!»

Минуты три ушло на обсуждение вопроса о том, какое количество воды утекло за пятнадцать лет, и на всякие там: «да, брат», «такие-то дела, брат», «а ты, брат, постарел», «да и ты, брат...»

Затем завязался разговор.

– Ты, значит, по военной линии пошел?

– Да, я уж давно.

– В центре?

– Нет, только сегодня с Дальнего Востока.

– Ну, как там японцы? Хотят воевать?

– Есть у них такая установочка.

– Так, так! Что-то знаков у тебя на петлицах маловато. Эти как называются?

– Шпалы.

– Три шпалы! Ага! А ромбов нет?

– Ромбов нет.

– Какой же это чин – три шпалы?

– Командир полка.

– Не густо, старик.

– Почему не густо? Командовать полком в Красной Армии – почетное дело. Полк – это крупное подразделение. Сколько учиться пришлось! Помнишь, мы с тобой даже арифметики не знали! Я все эти пятнадцать лет учился. После военной школы командовал взводом, потом ротой. Командиром батальона пошел в школу «Выстрел». Теперь командую полком. Очень сложно. В прошлом году был еще на курсах моторизации и механизации. И сейчас учусь.

– А ромбов все-таки нет?

– Ромбов нет. Ну, а ты по какой линии, Костя?

– Я, Леня, по другой линии.

– Но все-таки?

– Я, Леня, ответственный работник.

– Вот как! По какой же линии?

– Ответственный работник.

– Ну вот я и спрашиваю – по какой линии?

– Да я тебе и отвечаю – ответственный работник.

– Работник чего?

– Что чего?

– Ну, спрашиваю, какая у тебя специальность?

– При чем тут специальность! Честное слово, как с глухонемым разговариваешь. Я, голубчик, глава целого учреждения. Если по-военному считать, то это ромба два-три, не меньше.

– А какого учреждения?

– Директор строительного треста.

– Это здорово. Ты что, архитектор теперь? Учился в Академии искусств?

– Учился? Это когда же? А работать кто будет? У меня нет времени «Правду» почитать, не то что учиться. Очень хорошо, конечно, учиться, об этом и Сталин говорил. Только если бы все стали учиться, кто бы дело делал? Ну, идем в зал, мы тут последние остались.

Разговор возобновился в следующем антракте.

– Значит, ты учился, учился, а ромбов все-таки нет?

– Ромбов нет. Но вот скажи мне, Костя, следующее: раз ты не архитектор, то у тебя, вероятно, практический опыт большой?

– Огромный опыт.

– И скажем, если тебе приносят чертеж какого-нибудь здания, ты его свободно читаешь, конечно? Можешь проверить расчеты и так далее?

– Зачем? У меня для этого есть архитекторы. Что ж, я их даром в штате буду держать? Если я по целым дням буду в чертежах копать, то кто будет дело делать?

– Значит, ты на себя взял финансовую сторону?

– Какая финансовая сторона? Чего вдруг я буду загружать себя всякой мелочью? На это есть экономисты, бухгалтерия. Там, брат, калькулируют день и ночь. Я даже одного профессора держу.

– А вдруг тебе твои калькуляторы подсунут какую-нибудь чепуху?

– Кто мне подсунет?

– Возьмут и подсунут! Ты же не специалист.

– А чутье?

– Какое чутье?

– Что ты дурачком прикидываешься? Обыкновенно – какое. Я без всякой науки все насквозь вижу.

– Чем же ты занимаешься в своем учреждении? Строительными материалами, что ли? Это отрасль довольно интересная.

– Да ни черта я не понимаю в твоих строительных материалах!

– Позволь, ты говорил, что у тебя громадный опыт?

– Колоссальный. Ведь я на моей теперешней работе только полгода. А до этого я был в Краймолоче...

– Так бы сразу и сказал, что ты знаток молочного хозяйства.

– Да, уж свиньи с коровой не спутаю. Значит, в Краймолоче три месяца, а до молока в Утильсырье, а до этого заведовал музыкальным техникумом, был на профработе, служил в Красном Кресте и Полумесяце, руководил изыскательной партией по олову, заворачивал, брат, целым банком в течение двух месяцев, был в Курупре, в отделении Вукопсилки и в Меланжевом комбинате. И еще по крайней мере на десяти постах. Сейчас просто всего не вспомню.

Командир полка немножко смутился.

– Не понимаю, какая у тебя все-таки основная профессия?

– Неужели непонятно? Осуществляю общее руководство.

– Да, да, общее руководство, это я понимаю. Но вот профессия... как тебе объяснить... ну вот пятнадцать лет назад, помнишь, я был слесаренком, а ты электромонтерничал... Так вот, какая теперь у тебя профессия?

– Чудак, я же с самого начала говорил. Ответственный работник. Вот Саша Зайцев учился, учился, а я его за это время обскакал. Да и большинство учится, а я ничего, обхожусь, даже карьерку сделал.

– Есть, – сказал командир. – Теперь понятно. Карьерку!

– Да, – зашептал вдруг глава треста, таинственно оглядываясь, – у меня новость. То есть, собственно, новости еще нет, но, может быть, будет. Понимаешь, я, кажется, вовремя попал на

новую службу. На днях исполняется десятилетие нашего треста, и, говорят, будут награждать. Не может быть, чтоб всех наградили, а директора не наградили. Как ты думаешь, Ляня?

– Пора, кажется, в зал, – нетерпеливо сказал командир.

– Вот ты военный, – продолжал. Костя, – а ордена не имеешь. Это нехорошо.

– У меня есть.

– Да ну! Откуда?

– Да так. Участвовал в одном деле. В китайском конфликте.

– Там давали? – засуетился Костя.

– Там стреляли, – сухо ответил командир.

– Что же ты его не носишь?

– Ну чего ради я его в театр понесу?

– С ума ты сошел! А куда же? Именно в театр, чтобы все видели! Эх ты, вояка! Где ты его держишь?

– В коробочке.

– Действительно, нашел место! Ну, ладно, четвертое действие можно не смотреть, неинтересно. Сейчас едем ко мне. У меня, брат, жена – красавица, есть на что посмотреть. Закусим, то да се, граммофончик заведем.

– Что ж, интересно будет посмотреть.

– Идем, идем, у меня, брат, дома полный комплект.

И верно, дома у него оказался большой комплект, так сказать, полный набор игрушек для пожилого ребеночка лет тридцати пяти: патефон с польским танго, радио с динамиком, фотоаппарат «Лейка» с пятью объективами, шестью штативами и двумя увеличителями. Жены еще не было.

– Замечательный у тебя фотоаппарат, – сказал командир. – Ты, наверно, прекрасные снимки делаешь.

– Да нет, – ответил Костя, возясь у буфета, – какой я фотограф! И времени нет, сказать правду, этим заниматься.

– Жалко, жалко. Ну, включай радио. Кажется, это ЭКЛ-4? Он, должно быть, весь мир принимает! Интересно послушать.

Костя сунул вилку в штепсель и повернул какую-то ручку. Раздалось тошнотворное мяуканье. Костя живо выключил радио.

– Я, знаешь ты, не специалист этого дела. Тут к нам мальчик один приходит из соседней квартиры, Вова. Восемь лет шарлатану, а все станции отлично ловит. И Копенгаген, и Маменгаген, и что ты только хочешь.

– Что ж, – со вздохом сказал командир, – заведи хоть граммофон.

– Может, жену подождем? Она у меня специалистка по граммофонным делам. Впрочем, можно и завести.

Ответственный Костя принялся за граммофон.

– Да, брат, – говорил он, задумчиво крутя ручку, – все есть: квартира, радио, «Лейка», жена-красавица, только вот ордена нет. Вот бы мне еще орден...

Тут раздался короткий, леденящий душу треск.

– Так и есть, – удивился Костя, – лопнула пружина. Говорил я: подождем жену... Жалко. Хороший такой граммофончик был. Не то импортный, не то экспортный. Что ж теперь нам делать? Закусим, что ли?

И, потирая руки, он двинулся к столу. В это же самое время неожиданно погасло электричество.

– Что за черт! – раздался в темноте Костин голос. – Будем теперь сидеть без света.

– Почему же без света? – раздраженно сказал командир. – Простое дело – перегорела пробка. Возьми и почини. Был же ты когда-то электромонтером.

– Куда там! Я уже все позабыл. Где там анод, где там катод. Нет, придется послать за специалистом.

Он еще долго кряхтел в темноте.

Когда свет зажегся, командира уже не было.

1935

Широкий размах

За громадным письменным столом, на дубовых боках которого были вырезаны бекасы и виноградные гроздья, сидел глава учреждения Семен Семенович. Перед ним стоял завхоз в кавалерийских галифе с желтыми леями. Завхозы почему-то любят облекать свои гражданские телеса в полувоенные одежды, как будто бы деятельность их заключается не в мирном пересчитывании электрических лампочек и прибивании медных инвентарных номерков к шкафам и стульям, а в беспрерывной джигитовке и рубке лозы.

– Значит, так, товарищ Кошачий, – с увлечением говорил Семен Семенович, – возьмите семги, а еще лучше лососины, ну там ветчины, колбасы, сыру, каких-нибудь консервов подороже.

– Шпроты?

– Вот вы всегда так, товарищ Кошачий. Шпроты! Может, еще кабачки фаршированные или свинобобы? Резинокомбинат на своем последнем банкете выставил консервы из налимьей печенки, а вы – шпроты! Не шпроты, а крабы. Пишите. Двадцать коробок крабов.

Завхоз хотел было возразить и даже открыл рот, но ничего не сказал и принялся записывать.

– Крабы, – повторил Семен Семенович, – и пять кило зернистой икры.

– Не много ли? В прошлый раз три кило брали, и вполне хватило.

– По-вашему, хватило, а... по-моему, не хватило. Я следил.

– Сорок рублей кило, – грустно молвил завхоз.

– Ну, и что же из этого вытекает?

– Вытекает, что одна икра станет нам двести рублей.

– Я давно вам хотел сказать, что у вас, товарищ Кошачий, нет размаха. Банкет так банкет. Закуска, горячее, даже два горячих, пломбир, фрукты.

– Зачем же такой масштаб? – пробормотал Кошачий. – Конечно, я не спорю, мы выполнили месячную программу. И очень хорошо. Можно поставить чаю, пива, бутербродов с красной икрой. Чем плохо? И, кроме того, на прошлой неделе был банкет по поводу пятидесятилетия управделами.

– Я все-таки вас не понимаю, товарищ Кошачий. Извините, но вы какой-то болезненно скупой человек. Что у нас – бакалейная лавочка? Что мы, частники?

Завхоз потупился, сраженный аргументами.

– И потом, – продолжал Семен Семенович, – купите вы наконец приличный сервиз, а то вы подаете уже черт знает на чем. Какие-то разнокалиберные тарелки, рюмки разных размеров. В последний раз вино пили из чашек. Понимаете, что это такое?

– Понимаю.

– А раз понимаете, то пойдите в комиссионный магазин и купите все, что нужно. Нельзя же так.

– Дорого очень в комиссионном, Семен Семенович. Ведь у нас определенный бюджет.

– Я лучше вашего знаю про бюджет. Мы не воры, не растратчики и себе домой эту лососину в рукаве не таскаем. Но зачем нам приbedняться? Наши предприятия убытков не приносят. И если мы устраиваем товарищеский ужин, то пусть будет ужин настоящий. Надо нанять джаз, пригласить артистов, а не эту тамбовскую капеллу, как она там называется...

– Ансамбль лиристов, – хрипло сказал завхоз.

– Да, да, не надо больше этих балалаечников. Пригласите хорошего певца, пусть нам споет что-нибудь. «Спи, моя радость, усни, в доме погасли огни».

– Так ведь такой артист, – со слезами в голосе сказал Кошачий, – с нас три шкуры снимет.

– Ну какой вы, честное слово, человек! С вас он снимет эти три шкуры? И потом не три, а две. И для нашего миллионного бюджета это не играет никакой роли.

– Такси для артиста придется нанимать, – тоскливо прошептал завхоз.

Семен Семенович внимательно посмотрел на собеседника и проникновенно сказал:

– Простите меня, товарищ Кошачий, но вы просто сквалыжник. Самый обыкновенный скупердяй. Такой, извините меня, обобщенный тип даже описан в литературе. Вы – Плюшкин! Гарпагон! Да, да, и, пожалуйста, не возражайте. У вас тяжелая привычка всегда возражать. Вы Плюшкин, и все. Вот и мой заместитель жаловался на вашу бессмысленную мещанскую скупость. Вы до сих пор не можете купить для его кабинета порядочной мебели.

– У него хорошая мебель, – мрачно сказал Кошачий. – Все, что надо для работы: стульев шведских – шесть, столов письменных – один, еще один стол – малый, графин, бронзовая пепельница с собакой, красивый новый клеенчатый диван.

– Клеенчатый! – застонал Семен Семенович. – Завтра же купите ему кожаную мебель. Слышите? Пойдите в комиссионный.

– Кожаный, Семен Семенович, пятнадцать тысяч стоит.

– Опять эти деньги. Просто противно слушать. Что мы, нищие? Надо жить широко, товарищ Кошачий, надо, товарищ Кошачий, иметь социалистический размах. Поняли?

Завхоз спрятал в карман рулетку, которую вертел в руках, и, шурша кожаными лямками, вышел из кабинета.

Вечером, сидя за чаем, Семен Семенович со скучающим видом слушал жену, которая что-то записывала на бумажке и радостно говорила:

– Будет очень хорошо и дешево. Четыре бутылки вина, литр водки, две коробочки анчоусов, триста граммов лососины и ветчина. Потом я сделаю весенний салат со свежими огурцами и сварю кило сосисок.

– Здравствуйте.

– Ты, кажется, что-то сказал?

– Я сказал: здравствуйте.

– Тебе что-нибудь не нравится? – забеспокоилась жена.

– Да, кое-что, – сухо ответил Семен Семенович. – Мне, например, не нравится, что каждый огурец стоит один рубль пятнадцать копеек.

– Но ведь на весь салат пойдет два огурчика.

– Да, да, огурчики, лососина, анчоусы. Ты знаешь, во сколько все это станет?

– Я тебя не понимаю, Семен. Мои именины, придут гости, мы уже два года ничего не устраивали, а сами постоянно у всех бываем, просто неудобно.

– Почему неудобно?

– Неудобно, потому что невежливо.

– Ну, ладно, – сказал Семен Семенович томно. – Дай сюда список. Так вот, все это мы вычеркиваем. Остается... собственно, ничего не остается. А купи ты, Катя, вот что. Купи ты, Катя, бутылку водки и сто пятьдесят граммов сельдей. И все.

– Нет, Семен, так невозможно.

– Вполне возможно. Каждый тебе скажет, что селедка – это классическая закуска. Даже в литературе об этом где-то есть, я читал.

– Семен, это будет скандал.

– Хорошо, хорошо, в таком случае приобрети еще коробку шпрот. Только не бери ленинградских шпрот, а требуй тульских. Они хотя и дешевле, но значительно питательнее.

– Можно подумать, что мы нищие! – закричала жена.

– Мы должны строить свою жизнь на основах строжайшей экономии и рационального использования каждой копейки, – степенно ответил Семен Семенович.

– Ты получаешь тысячу рублей в месяц. К чему нам приbedняться?

– Катя, я не вор и не растратчик и не обязан кормить на свои трудовые деньги банду жадных знакомых.

– Тьфу!

– Я оставляю твой выпад без внимания. У меня есть бюджет, и я не имею права выходить за его рамки. Понимаешь, не имею права!

– И в кого он такой сквалыга уродился? – сказала жена, обращаясь к стене.

– Ругай меня, ругай, – сказал Семен Семенович, – но предупреждаю, что финансовую дисциплину я буду проводить неуклонно, что бы ты там ни говорила.

– Говорю и буду говорить! – закричала жена. – Коля уже месяц ходит в рваных ботинках.

– При чем тут Коля?

– При том тут Коля, что он наш сын.

– Ладно, ладно, не кричи! Купим этому пирату ботинки. С течением времени. Ну, что там еще надо? Говори уж скорее. Может быть, рояль надо купить, арфу?

– Арфу не надо, а табуретку на кухню надо.

– Табуретку! – завизжал Семен Семенович. – Зачем табуретку? Чего уж там! Купим для кухни сразу кожаную мебель! Всего только пятнадцать тысяч. Нет. Катенька, я наведу в доме порядок.

И он долго еще объяснял жене, что пора уже покончить с бессмысленными тратами, пирами и тому подобным безудержным разбрасыванием и разбазариванием социалистической копейки.

Спал он спокойно.

1935

Лентяй

Ровно в девять часов утра небольшая комната сектора планирования наполнилась сотрудниками. Прогремел железный футляр, который сняли с ундервуда и поставили на подоконник, захлопали ящики письменных столов, и рабочий день начался.

Последним явился Яков Иванович Дубинин.

– Салют! – сказал он жизнерадостно. – Здравствуйте, Федор Николаевич, здравствуйте, Людмила Филипповна. Остальным – общий привет.

Но, повернувшись к своему столу и увидев на нем большую кучу деловых папок, он сразу увял.

Некоторое время он сидел, тупо глядя на бумаги, потом встрепенулся и развернул «Правду».

– Ого! – сказал он минут через десять. – Немцы-то, а? «Эр нувель» пишет...

Сектор безмолвствовал.

Дубинин, конечно, понимал, что надо бы заняться планированием, но какая-то неодолимая сила заставила его перевернуть страницу и углубиться в чтение большой медицинской статьи.

– Товарищи, – внезапно воскликнул он, высоко подымая брови, – вы только смотрите, что делается! Вы читали сегодняшнюю «Правду»?

Трудолюбивые сотрудники подняли на него затуманенные глаза, а Людмила Филипповна на минуту даже перестала печатать.

– Можно будет рожать без боли! Здорово, а?

Он так взволновался, как будто бы сам неоднократно рожал и испытывал при этом ужасные страдания.

Машинка снова застучала, а Яков Иванович принялся читать дальше. Он добросовестно прочитывал все по порядку, не пропуская ни одного столбца и бормоча:

– А сев ничего. Сеют, сеют, засевают. Что-то в этом году в грязь не сеют? А может, сеют, но не пишут? Ну-с, пойдем дальше. Ого! Опять хулиганы! Я бы с ними не стеснялся, честное слово! Профессор Пикар приехал в Варшаву. Я бы лично никогда не полетел в стратосферу. Хоть вы меня озолотите... Ну-с, в Большом театре сегодня «Садко», билеты со штампом «Град Китеж» действительны на двадцать восьмое. Дальше что? Концерт Беаты Малкин... Вечер сатиры и юмора при участии лучших сил... Партколлегия вызывает в комнату № 598 товарища Никитина... Так, так... Телефоны редакции... Уполномоченный Главлита 22 624...

Дубинин озабоченно посмотрел на часы: было всего только одиннадцать.

– Да, а «Известия» где? – деловито закричал он. – Дайте мне «Известия». Федор Николаевич, где «Известия»? Вечно эта проклятая курьерша куда-то их засовывает.

– Сегодня «Известий» нет, – сухо ответил Федор Николаевич.

– Как нет?

– После выходного «Известий» никогда не бывает.

Яков Иванович даже изменился в лице, когда понял, что читать больше нечего. В тоске он захрустел пальцами и четверть часа сидел, не будучи в силах пошевелиться. Потом собрался с духом и стал изготавливать картонный переплетик для своего паспорта. Он долго и старательно что-то резал, клеил и, высунув язык, выводил надпись: «Я. И. Дубинин».

К часу дня грандиозный труд был закончен. Приближалась роковая минута, когда придется все-таки заняться планированием. Яков Иванович отвернулся от письменного стола брезгливо, как кот, которому пьяный шутник сует в нос дымящуюся папиросу. Он даже фыркнул от отвращения.

За окном шумели голые весенние ветки.

- Сегодня солнечно, но ветрено, – сообщил Яков Иванович, набиваясь на разговор.
- Не мешайте работать, – ответила Людмила Филипповна.
- Я, кажется, всем здесь мешаю, – обидчиво сказал Дубинин. – Что ж, я могу уйти.

И он ушел в уборную, где сидел сорок минут, думая о нетоварищеском, нечутком отношении к нему сотрудников сектора планирования, о профессоре Пи-каре и о том, что билеты на «Град Китеж» действительно на двадцать восьмое.

«Вот черт, – думал он, – ходят же люди по театрам. Времени у них сколько угодно, вот они и шлятуются».

В свой сектор Дубинин вернулся томный, обиженный.

– К вам посетитель приходил, – сказала Людмила Филипповна. – Относительно за планирования стеклянной тары. Он ждет в коридоре.

– Знаю без вас, – сурово сказал Яков Иванович. – Сейчас я с ним все вырешу. Уж, извините за выражение, человеку в уборную сходить нельзя.

Но в эту минуту его позвали к начальнику.

– Слушайте, товарищ Дубинин, – сердито сказал начальник. – Оказывается, вы сегодня опять опоздали на десять минут к началу служебных занятий. Это что ж получается? Не планирование, а фланирование. Вы понимаете, что такое десять минут, украденные у государства? Я вынужден объявить вам выговор в приказе. Я вас не задерживаю больше, товарищ Дубинин. Можете идти.

«Не задерживаю», – горько думал Яков Иванович, медленно идя по коридору. – «Фланирование»! Скажите пожалуйста, какой юморист. Тут работаешь как зверь, а он... бюрократ паршивый! Городовой в пиджаке!»

– Нет, я этого так не оставлю, – кричал он в отделе, заглушая шум машинки. – Да, я опоздал на десять минут. Действительно, на десять минут я опоздал. Ну и что? Разве это дает ему право обращаться со мной, как со скотом? «Я вас не задерживаю!..» Еще бы он меня задержал, нахал. «Можете идти!» Что это за тон? Да, и пойду! И буду жаловаться!

Он хватал сотрудников за руки, садился на их столы и беспрерывно курил. Потом сел на свое место и принялся сочинять объяснительную записку.

«Объяснительная записка», – вывел он посередине листа.

Он сбегал в соседний сектор, принес оттуда красных чернил и провел под фиолетовым заглавием красивую красную черту.

– Товарищ Дубинин, – сказал тихий Федор Николаевич, – готовы у вас плановые наметки по Южному заводу?

– Не мешайте работать! – заревел Яков Иванович. – Человека оскорбили, втоптали в грязь! Что ж, ему уже и оправдаться нельзя, у него уже отнимают последнее право, право апелляции?

Федор Николаевич испуганно нагнул голову и притаился за своим столом.

– Я им покажу! – ворчал Дубинин, приступая к созданию объяснительной записки.

«25-го сего месяца я был вызван в кабинет товарища Пытлясинского, где подвергся неслыханному...»

Он писал с громадным жаром, разбрызгивая чернила по столу. Он указывал на свои заслуги в области планирования. Да, именно планирования, а не фланирования.

«Конечно, остричь может всякий, но обратимся к непреложным фактам. Инкриминируемое мне опоздание на десять минут, вызванное трамвайной пробкой на площади имени Свердлова...»

– Пришел товарищ Дубинин? – раздался голос. – Я, собственно говоря, поджидаю его уже два часа.

– Что? – сказал Дубинин, обратив к посетителю страдающий взгляд.

– Я, товарищ, по поводу стеклянной тары.

– Вы что, слепой? – сказал Яков Иванович гнетущим шепотом. – Не видите, что человек занят? Я пишу важнейшую докладную записку, а вы претесь со своей стеклянной тарой. Нет у людей совести и чувства меры, нет, честное слово, нет!

Он отвернулся от посетителя и продолжал писать: «Десятиминутное опоздание, вызванное, как я уже докладывал, образовавшейся на площади имени Свердлова пробкой, не могло по существу явиться сколько-нибудь уважительной причиной для хулиганского выступления тов. Пытлясинского и иже с ним...»

В половине пятого Дубинин поднялся из-за стола.

– Так и есть, – сказал он. – Полчаса лишних просидел в этом проклятом, высасывающем всю кровь учреждении. Работаешь как дикий зверь, и никто тебе спасибо не скажет.

Объяснительную записку он решил дописать и окончательно отредактировать на другой день.

1935

Интриги

С товарищем Бабашкиным, освобожденным секретарем месткома, страслась великая беда.

Десять лет подряд членская масса выбирала Бабашкина освобожденным секретарем месткома, а сейчас, на одиннадцатый год, не выбрала, не захотела.

Черт его знает, как это случилось! Просто непонятно.

Поначалу все шло хорошо. Председатель докладывал о деятельности месткома, членская масса ему внимала, сам Бабашкин помещался в президиуме и моргал белыми ресницами. В зале стоял привычный запах эвакуопункта, свойственный профсоюзным помещениям. (Такой запах сохранился еще только в залах ожидания на отсталых станциях, а больше нигде уже нет этого портяночно-карболового аромата.)

Иногда Бабашкин для виду водил карандашом по бумаге, якобы записывая внеочередные мысли, пришедшие ему на ум в связи с речью председателя. Два раза он громко сказал: «Правильно». Первый раз, когда речь коснулась необходимости активной борьбы с недостаточной посещаемостью общих собраний, и второй раз, когда председатель заговорил об усилении работы по внедрению профзнаний. Никто в зале не знал, что такое профзнания, не знал и сам Бабашкин, но ни у кого не хватило гражданского мужества прямо и откровенно спросить, что означает это слово. В общем, все шло просто чудесно.

На Бабашкине были яловые сапоги с хромовыми головками и военная гимнастерка. Полувоенную форму он признавал единственно достойной освобожденного члена месткома, хотя никогда не участвовал в войнах.

– А теперь приступим к выборам, – сказал председатель, делая ударение на последнем слог.

Профсоюзный язык – это совершенно особый язык. Профработники говорят: выбора, договора, средства, процент, портфель, квартал, доставка, добыча.

Есть еще одна особенность у профработника. Начиная свою речь, он обязательно скажет: «Я, товарищи, коротенько», а потом говорит два часа. И согнать с трибуны его уже невозможно.

Приступили к выборам.

Обычно председатель зачитывал список кандидатов. Бабашкин вставал и говорил, что «имеется предложение голосовать в целом»; членская масса кричала: «Правильно, давай в целом, чего там!»; председатель говорил: «Позвольте считать эти аплодисменты...»; собрание охотно позволяло; все радостно бежали по домам, а для Бабашкина начинался новый трудовой год освобожденного секретарства. Он постоянно заседал, куда-то кооптировался, сам кого-то кооптировал, иногда против него плели интриги другие освобожденные члены, иногда он сам плел интриги. Это была чудная кипучая жизнь.

А тут вдруг начался кавардак.

Прежде всего собрание отказалось голосовать список в целом.

– Как же вы отказываетесь, – сказал Бабашкин, демагогически усмехаясь, – когда имеется предложение? Тем более что по отдельности голосовать надо два часа, а в целом – пять минут, и можно идти домой.

Однако членская масса с каким-то ребяческим упрямством настояла на своем.

Бабашкину было ужасно неудобно голосоваться отдельно. Он чувствовал себя как голый. А тут еще какая-то молодая, член союза, позволила себе резкий, наглый, безответственный выпад, заявив, что Бабашкин недостаточно проводил работу среди женщин и проявлял нечуткое отношение к разным вопросам.

Дальше начался кошмарный сон.

Бабашкина поставили на голосование и не выбрали.

Еще некоторое время ему представлялось, что все это не всерьез, что сейчас встанет председатель и скажет, что он пошутил, и собрание с приветливой улыбкой снова изберет Бабашкина в освобожденные секретари.

Но этого не произошло.

Жена была настолько уверена в непреложном ходе событий, что даже не спросила Бабашкина о результатах голосования. И вообще в семье Бабашкиных слова «выборы, голосование, кандидатура» хотя и часто произносились, но никогда не употреблялись в их прямом смысле, а служили как бы добавлением к портфелю и кварталу.

Утром Бабашкин побежал в областной профсовет жаловаться на интриги, он ходил по коридорам, всех останавливал и говорил: «Меня не выбрали», – говорил таким тоном, каким обычно говорят: «Меня обокрали». Но никто его не слушал. Члены совета сами ждали выборов и со страхом гадали о том, какой процент из них уцелеет на своих постах. Председатель тоже был в ужасном настроении, громко, невпопад говорил о демократии и при этом быстро и нервно чесал спину металлической бухгалтерской линейкой.

Бабашкин ушел, шатаясь.

Дома состоялся серьезный разговор с женой.

– Кто же будет тебе выплачивать жалованье? – спросила она с присущей женщинам быстротой соображения.

– Придется переходить на другую работу, – ответил Бабашкин. – Опыт у меня большой, стаж у меня тоже большой, меня всюду возьмут в освобожденные члены.

– Как же возьмут, когда надо, чтоб выбрали?

– Ничего, с моей профессией я не пропаду.

– С какой профессией?

– Что ты глупости говоришь! Я профработник. Старый профработник. Ей-богу, даже смешно слушать.

Жена некоторое время внимательно смотрела на Бабашкина и потом сказала:

– Твое счастье, что я умею печатать на машинке.

Это была умная женщина.

Вечером она прибежала домой, взволнованная и счастливая.

– Ну, Митя, – сказала она, – я все устроила. Только что я говорила с соседским управдомом, как раз им нужен дворник. И хорошие условия. Семьдесят пять рублей в месяц, новые метлы и две пары рукавиц в год. Пойдешь туда завтра наниматься. А сегодня вечером Герасим тебя выучит подметать. Я уже с ним сговорила за три рубля.

Бабашкин молча сидел, глядя на полку, где стояло толстое синее с золотом Собрание сочинений Маркса, которое он в суматохе профсоюзной жизни так и не успел раскрыть, и бормотал:

– Это интриги! Факт! Я этого так не оставлю.

1935

Колумб причаливает к берегу

– Земля, земля! – радостно закричал матрос, сидевший на верхушке мачты.

Тяжелый, полный тревог и сомнений путь Христофора Колумба был окончен. Впереди виднелась земля. Колумб дрожащими руками схватил подзорную трубу.

– Я вижу большую горную цепь, – сказал он товарищам по плаванию. – Но вот странно: там прорублены окна. Первый раз вижу горы с окнами.

– Пирога с туземцами! – раздался крик.

Размахивая шляпами со страусовыми перьями и волоча за собой длинные плащи, открыватели новых земель бросились к подветренному борту.

Два туземца в странных зеленых одеждах поднялись на корабль и молча сунули Колумбу большой лист бумаги.

– Я хочу открыть вашу землю, – гордо сказал Колумб. – Именем испанской королевы Изабеллы объявляю эти земли принадлежа...

– Все равно. Сначала заполните анкету, – устало сказал туземец. – Напишите свое имя и фамилию печатными буквами, потом национальность, семейное положение, сообщите, нет ли у вас трахомы, не собираетесь ли свергнуть американское правительство, а также не идиот ли вы.

Колумб схватился за шпагу. Но так как он не был идиотом, то сразу успокоился.

– Нельзя раздражать туземцев, – сказал он спутникам. – Туземцы как дети. У них иногда бывают очень странные обычаи. Я это знаю по опыту.

– У вас есть обратный билет и пятьсот долларов? – продолжал туземец.

– А что такое доллар? – с недоумением спросил великий мореплаватель.

– Как же вы только что указали в анкете, что вы не идиот, если не знаете, что такое доллар? Что вы хотите здесь делать?

– Хочу открыть Америку.

– А публисити у вас будет?

– Публисити? В первый раз слышу такое слово.

Туземец долго смотрел на Колумба проникновенным взглядом и наконец сказал:

– Вы не знаете, что такое публисити?

– Н-нет:

– И вы собираетесь открыть Америку? Я не хотел бы быть на вашем месте, мистер Колумб.

– Как? Вы считаете, что мне не удастся открыть эту богатую и плодородную страну? – забеспокоился великий генуэзец.

Но туземец уже удалялся, бормоча себе под нос:

– Без публисити нет процветания.

В это время каравеллы уже входили в гавань. Осень в этих широтах была прекрасная. Светило солнце, и чайка кружилась за кормой. Глубоко взволнованный, Колумб вступил на новую землю, держа в одной руке скромный пакетик с бусами, которые он собирался выгодно сменять на золото и слоновую кость, а в другой – громадный испанский флаг. Но куда бы он ни посмотрел, нигде не было видно земли, почвы, травы, деревьев, к которым он привык в старой, спокойной Европе. Всюду были камень, асфальт, бетон, сталь.

Огромная толпа туземцев неслась мимо него с карандашами, записными книжками и фотоаппаратами в руках. Они окружали сошедшего с соседнего корабля знаменитого борца, джентльмена с расплюснутыми ушами и неимоверно толстой шеей. На Колумба никто не обращал внимания. Подошли только две туземки с раскрашенными лицами.

– Что это за чудаки с флагом? – спросила одна из них.

– Это, наверно, реклама испанского ресторана, – сказала другая.

И они тоже побежали смотреть на знаменитого джентльмена с расплюснутыми ушами.

Водрузить флаг на американской почве Колумбу не удалось. Для этого ее пришлось бы предварительно бурить пневматическим сверлом. Он до тех пор ковырял мостовую своей шпагой, пока ее не сломал. Так и пришлось идти по улицам с тяжелым флагом, расшитым золотом. К счастью, уже не надо было нести бусы. Их отобрали на таможне за неуплату пошлины.

Сотни тысяч туземцев мчались по своим делам, ныряли под землю, пили, ели, торговали, даже не подозревая о том, что они открыты.

Колумб с горечью подумал: «Вот. Старался, добывал деньги на экспедицию, переплывал бурный океан, рисковал жизнью – и никто не обращает внимания».

Он подошел к туземцу с добрым лицом и гордо сказал:

– Я Христофор Колумб.

– Как вы говорите?

– Христофор Колумб.

– Скажите по буквам, – нетерпеливо молвил туземец.

Колумб сказал по буквам.

– Что-то припоминаю, – ответил туземец. – Торговля портативными механическими изделиями?

– Я открыл Америку, – неторопливо сказал Колумб.

– Что вы говорите! Давно?

– Только что. Какие-нибудь пять минут тому назад.

– Это очень интересно. Так что же вы, собственно, хотите, мистер Колумб?

– Я думаю, – скромно сказал великий мореплаватель, – что имею право на некоторую известность.

– А вас кто-нибудь встречал на берегу?

– Меня никто не встречал. Ведь туземцы не знали, что я собираюсь их открыть.

– Надо было дать кабель. Кто же так поступает? Если вы собираетесь открывать новую землю, надо вперед послать телеграмму, приготовить несколько веселых шуток в письменной форме, чтобы раздать репортерам, приготовить сотню фотографий. А так у вас ничего не выйдет. Нужно публицити.

– Я уже второй раз слышу это странное слово – публицити. Что это такое? Какой-нибудь религиозный обряд, языческое жертвоприношение?

Туземец с сожалением посмотрел на пришельца.

– Не будьте ребенком, – сказал он. – Публицити – это публицити, мистер Колумб. Я постараюсь что-нибудь для вас сделать. Мне вас жалко.

Он отвел Колумба в гостиницу и поселил его на тридцать пятом этаже. Потом оставил его одного в номере, заявив, что постарается что-нибудь для него сделать.

Через полчаса дверь отворилась, и в комнату вошел добрый туземец в сопровождении еще двух туземцев. Один из них что-то непрерывно жевал, а другой расставил треножник, укрепил на нем фотографический аппарат и сказал:

– Улыбнитесь! Смейтесь! Ну! Не понимаете? Ну, сделайте так: «Га-га-га!» – и фотограф с деловым видом оскалил зубы и заржал, как конь.

Нервы Христофора Колумба не выдержали, и он засмеялся истерическим смехом. Блеснула вспышка, щелкнул аппарат, и фотограф сказал: «Спасибо».

Тут за Колумба взялся другой туземец. Не переставая жевать, он вынул карандаш и сказал:

– Как ваша фамилия?

– Колумб.

– Скажите по буквам. Ка, О, Эл, У, Эм, Бэ? Очень хорошо, главное – не перепутать фамилии. Как давно вы открыли Америку, мистер Колман? Сегодня? Очень хорошо. Как вам понравилась Америка?

– Видите, я еще не мог получить полного представления об этой плодородной стране.

Репортер тяжело задумался.

– Так. Тогда скажите мне, мистер Колман, какие четыре вещи вам больше всего понравились в Нью-Йорке?

– Видите ли, я затрудняюсь...

Репортер снова погрузился в тяжелые размышления: он привык интервьюировать боксеров и кинозвезд, и ему трудно было иметь дело с таким неповоротливым и туповатым типом, как Колумб. Наконец он собрался с силами и выжал из себя новый, блестящий оригинальностью вопрос:

– Тогда скажите, мистер Колумб, две вещи, которые вам не понравились.

Колумб издал ужасный вздох. Так тяжело ему еще никогда не приходилось. Он вытер пот и робко спросил своего друга-туземца:

– Может быть, можно все-таки обойтись как-нибудь без публицити?

– Вы с ума сошли, – сказал добрый туземец, бледнея. – То, что вы открыли Америку, – еще ничего не значит. Важно, чтобы Америка открыла вас.

Репортер произвел гигантскую умственную работу, в результате которой был произведен на свет экстравагантный вопрос:

– Как вам нравятся американки?

Не дожидаясь ответа, он стал что-то быстро записывать. Иногда он вынимал изо рта горящую папиросу и закладывал ее за ухо. В освободившийся рот он клал карандаш и вдохновенно смотрел на потолок. Потом снова продолжал писать. Потом он сказал «о'кей», похлопал расклевывающегося Колумба по бархатной, расшитой галунами спине, потряс его руку и ушел.

– Ну, теперь все в порядке, – сказал добрый туземец, – пойдем погуляем по городу. Раз уж вы открыли страну, надо ее посмотреть. Только с этим флагом вас на Бродвей не пустят. Оставьте его в номере.

Прогулка по Бродвею закончилась посещением тридцатипятицентového бурлеска, откуда великий и застенчивый Христофор выскочил, как ошпаренный кот. Он быстро помчался по улицам, задевая прохожих лапами плаща и громко читая молитвы. Пробравшись в свой номер, он сразу бросился в постель и под грохот надземной железной дороги заснул тяжелым сном.

Рано утром прибежал покровитель Колумба, радостно размахивая газетой. На восьмидесятой пятой странице мореплаватель с ужасом увидел свою оскаленную физиономию. Под физиономией он прочел, что ему безумно понравились американки, что он считает их самыми элегантными женщинами в мире, что он является лучшим другом эфиопского негуса Селасси, а также собирается читать в Гарвардском университете лекции по географии.

Благородный генуэзец раскрыл было рот, чтобы поклясться в том, что он никогда этого не говорил, но тут появились новые посетители.

Они не стали терять времени на любезности и сразу приступили к делу. Публицити начало оказывать свое магическое действие: Колумба пригласили в Голливуд.

– Понимаете, мистер Колумб, – втолковывали новые посетители, – мы хотим, чтобы вы играли главную роль в историческом фильме «Америго Веспуччи». Понимаете, настоящий Христофор Колумб в роли Америго Веспуччи – это может быть очень интересно. Публика на такой фильм пойдет. Вся соль в том, что диалог будет вестись на бродвейском жаргоне. Понимаете? Не понимаете? Тогда мы вам сейчас все объясним подробно. У нас есть сценарий. Сценарий сделан по роману Александра Дюма «Граф Монте-Кристо», но это не важно, мы ввели туда элементы открытия Америки.

Колумб пошатнулся и беззвучно зашевелил губами, очевидно читая молитвы. Но туземцы из Голливуда бойко продолжали:

– Таким образом, мистер Колумб, вы играете роль Америго Веспуччи, в которого безумно влюблена испанская королева. Он в свою очередь так же безумно влюблен в русскую княгиню Гришку. Но кардинал Ришелье подкупает Васко де Гаму и при помощи леди Гамильтон добивается посылки вас в Америку. Его адский план прост и понятен. В море на вас нападают пираты. Вы сражаетесь, как лев. Сцена на триста метров. Играть вы, наверно, не умеете, но это не важно.

– Что же важно? – застонал Колумб.

– Важно публицити. Теперь вас публика уже знает, и ей будет очень интересно посмотреть, как такой почтенный и ученый человек сражается с пиратами. Кончается тем, что вы открываете Америку. Но это не важно. Главное – это бой с пиратами. Понимаете, алебарды, секиры, катапульты, греческий огонь, ятаганы, – в общем, средневекового реквизита в Голливуде хватит. Только вам надо будет побриться. Никакой бороды и усов! Публика уже видела столько бород и усов в фильмах из русской жизни, что больше не сможет этого вынести. Значит, сначала вы побреетесь, потом мы подписываем контракт на шесть недель. Согласны?

– О'кей! – сказал Колумб, дрожа всем телом.

Поздно вечером он сидел за столом и писал письмо королеве испанской:

«Я объехал много морей, но никогда еще не встречал таких оригинальных туземцев. Они совершенно не выносят тишины и, для того чтобы как можно чаще наслаждаться шумом, построили во всем городе на железных столбах особые дороги, по которым день и ночь мчатся железные кареты, производя столь любимый туземцами грохот.

Занимаются ли они людоедством, я еще не выяснил точно, но, во всяком случае, они едят горячих собак. Я своими глазами видел много съестных лавок, где призывают прохожих питаться горячими собаками и восхваляют их вкус¹.

От всех людей здесь пахнет особым благовонием, которое на туземном языке называется «бензин». Все улицы наполнены этим запахом, очень неприятным для европейского носа. Даже здешние красавицы пахнут бензином.

Мне пришлось установить, что туземцы являются язычниками: у них много богов, имена которых написаны огнем на их хижинах. Больше всего поклоняются, очевидно, богине Кока-кола, богу Драгист-сода, богине Кафетерии и великому богу бензиновых благовоний – Форду. Он тут, кажется, вроде Зевеса.

Туземцы очень прожорливы и все время что-то жуют.

К сожалению, цивилизация их еще не коснулась. По сравнению с бешеным темпом современной испанской жизни американцы чрезвычайно медлительны. Даже хождение пешком кажется им чрезмерно быстрым способом передвижения. Чтобы замедлить этот процесс, они завели огромное количество так называемых автомобилей. Теперь они передвигаются со скоростью черепахи, и это им чрезвычайно нравится.

Меня поразил один обряд, который совершается каждый вечер в местности, называемой Бродвей. Большое число туземцев собирается в большой хижине, называемой бурлеск. Несколько туземок по очереди поднимаются на возвышение и под варварский грохот тамтамов и саксофонов постепенно снимают с себя одежды. Присутствующие бьют в ладоши, как дети. Когда женщина уже почти голая, а туземцы в зале накалены до последней степени, происходит самое непонятное в этом удивительном обряде: занавес почему-то опускается, и все расходится по своим хижинам.

¹ В Америке «горячими собаками» называют обыкновенные сосиски. – *Примеч. авт.*

Я надеюсь продолжить исследование этой замечательной страны и двинуться в глубь материка. Моя жизнь находится вне опасности. Туземцы очень добры, приветливы и хорошо относятся к чужестранцам».

1936

Добродушный Курятников

Мы впервые увидели Василия Петровича Курятникова лет десять тому назад в редакции одной профсоюзной газеты. Он ходил из комнаты в комнату вместе с секретарем редакции, который представлял ему сотрудников.

– Пожалуйста, товарищи, познакомьтесь, – говорил секретарь. – Это наш новый редактор, товарищ Курятников.

Редактор произвел на сотрудников впечатление человека добродушного и симпатичного. На нем был новый синий костюм. Голова у редактора была круглая, короткие черные волосы блестели, как у морского льва.

Газета в то время была хорошая, популярная. И редакция работала слаженно и дружно.

Новый редактор начал с того, что заперся в своем кабинете, где стояла сделанная из фанеры огромная профсоюзная членская книжка – подарок редакции от какой-то читательской конференции, и уже не выходил оттуда. Увидеться с ним было почти невозможно. Только иногда сотрудникам удавалось поймать его в коридоре, когда он направлялся в уборную. Но в таких случаях он, естественно, спешил и на вопросы сотрудников отвечал весьма кратко.

Хорошо налаженная газета месяца два проработала автоматически, а потом стала вдруг разваливаться. Те сотрудники, которым все-таки удавалось прорваться в кабинет Курятникова, выходили оттуда, ошеломленно пожимая плечами и бормоча:

– Худо, товарищи, худо.

– А что такое? – спрашивали товарищи.

– Просто дуб. Ничего не понимает.

Еще через месяц все в редакции твердо знали, что Курятников – глупый, бесталанный человек. Но что было делать? Идти в профсоюз жаловаться на редактора? Но ведь он ничего конкретно плохого не сделал. Жаловаться на его глупость? Это – неопределенно, расплывчато, слишком общо. У нас любят факты. А фактов не было и не могло быть, потому что Курятников ничего не делал.

Началось бегство из редакции. Постепенно стал падать тираж. Когда почти все сотрудники перекочевали в соседние органы, к более расторопным и деятельным редакторам, а тираж газеты с четырехсот тысяч упал до пятидесяти, – в профсоюзе медленно заворочались. И после целого года размышлений Курятникова сняли.

Но он не огорчился. Он сам не раз за время своего редактирования говорил, что газетная работа – это не его стихия, что она ему не нравится.

Через полгода стало известно, что Курятников управляет консервным заводом. А еще через полгода в «Правде» появилась коротенькая, но леденящая душу заметка под названием «Баклажаны товарища Курятникова». В конце заметки сообщалось, что за полное пренебрежение вопросами качества продукции управляющий заводом снят с работы. Все-таки Василий Петрович продержался год, прежде чем общественность удостоверилась в том, что консервы не были его стихией.

Некоторое время Курятников ходил в запасе, таинственный и гордый. При встречах с знакомыми он говорил, что его зовет к себе заместителем Коля Саботаев.

– Но нема дураков, – говорил Василий Петрович. – В заместители я не пойду. Подожду чего-нибудь более подходящего по моему положению.

И, представьте себе, дождался. Не прошло и двух месяцев, как Московскому комнатному театру срочно понадобился директор взамен старого, перешедшего на другую работу. Художественный руководитель театра безумно боялся, что ему подкинут какого-нибудь серьезного и умного человека.

Ему посчастливилось: достался Курятников.

В Комнатном театре Василий Петрович продержался очень долго – два года. Конечно, должность была менее ответственная, зато спокойная. Сиди себе в кабинете среди бронзовых подсвечников да знай снимай себе трубку телефона.

– Слушаю. Нет, нет, по вопросам репертуара обратитесь, пожалуйста, к художественному руководителю, заслуженному деятелю искусств товарищу Тицианову. Нет, по вопросам контрамарок тоже не ко мне. Это вы обратитесь к главному администратору товарищу Передышкину.

Хорошая была жизнь. Вечером Василий Петрович заходил в директорскую ложу и с удовольствием смотрел на сцену. Потом вызывал машину, садился рядом с шофером и ехал домой.

И все-таки он не удержался даже на этом тихом месте. Комнатный театр и до Курятникова не блистал свежестью репертуара и гениальностью художественных замыслов, а при нем дело совсем расплозлось. Пьесы шли какие-то особенно глупые, актеры перестали учить роли, даже занавес заедал и не опускался донизу, так что зрителям отлично видны были сапоги театральных рабочих, перетаскивавших декорации. Продуктивно работал только товарищ Передышкин, главный администратор. Ежевечерне он выдавал около тысячи контрамарок, так как зрители совсем перестали покупать билеты.

Изгнанный из театра Курятников на некоторое время исчез. Мы потеряли его из виду.

Однажды началась ожесточенная кампания в газетах. Мишенью этой кампании была фабрика дачно-походных кроватей, так называемых раскладушек.

Пресса открыла ужасные неполадки в раскладушечном деле. Тысячи дачников и дачниц, которые приобрели эти прохвостовы ложа, ругались очень крепкими словами. Раскладушки ломались в первую же ночь. Была назначена ревизия. Пахло судом.

– Тут не могло обойтись без Курятникова, – решили мы. – Такой развал, да притом в такие сжатые сроки, мог вызвать один только Василий Петрович.

Мы почти угадали. Курятников оказался заместителем директора фабрики. Это его спасло, хотя он был правой рукой директора именно по линии раскладушек. Он отделался только выговором и снятием с работы.

Опять он ходил в запасе, гордый и загадочный. Опять его звал к себе верный Коля Саботаев, и, на горе этого Коли, Курятников пошел к нему и в феерически короткий срок – в две шестидневки – развалил большой, недурно налаженный завод граммофонных иголок. Вместо иголок стали получаться почему-то подковные гвозди. Дело пошло своим путем – снимали, судили и так далее. Курятников пошел на другую работу.

Так и двигался по стране Василий Петрович Курятников, неторопливо переходя с места на место.

А чего с ним только не делали! Уже и перемещали, и смещали, и пытались учить. Вся беда заключалась в том, что он был хороший человек. Никогда ничего не крал, вовремя приходил на работу, вежливо обращался с посетителями. Он имел только один недостаток – был бездарен, тяжело и безнадежно глуп.

Даже после того как становится ясно, что человек не годится для места, которое занимает, он по инерции держится еще год. Вот этот год иногда обходится очень дорого.

Странный жизненный путь проходят люди, подобные Курятникову!

С первого же дня поступления на новую должность Курятниковы начинают бояться, что их снимут. Поэтому все свои силенки они направляют не на выполнение порученной им работы, а на борьбу за сохранение занятого поста. В этой затяжной борьбе они выработали тысячи уловок и хитростей. Новая Конституция ускорит движение этих «карьер сверху вниз». Дуракам некуда будет уйти. Они будут освещены, как актеры на сцене. Тут сразу станет видно, на какую роль годится человек. Подходит ли ему роль героя, или он способен только на то, чтобы промямлить два слова и тотчас же уйти со сцены.

Вчера мы встретили в Охотном ряду Курятникова.

Он ехал в старом «газике» с дрожащим кузовом и пожелтевшим ветровым стеклом. Увидев нас, он бешено замахал портфелем.

– Ну, как твои дела, Василий Петрович? Что-то, говорят, неважно? – спросили мы.

– Да, да, – озабоченно сказал Курятников, – имеется некоторая заминка. Стали меня как-то обижать в последнее время. Не могу понять, в чем дело! Работаю так же, как всегда, не жалею сил, а отношение почему-то уже не то. Преждевременно все это, товарищи!

– Что преждевременно?

– Да все это. Между нами говоря. Ну, Конституция. Дело хорошее. Кто же возражает? Но вот тайные выборы. Почему тайные? Кому это надо? Нам с вами? Ни на черта это нам не надо! То есть я понимаю – демократия и прочее. Я ж тоже не бюрократ. Но зачем тайные? Вдруг выберут не того, кого надо? Что тогда будет? А?

– Почему же не того?

Курятников внимательно посмотрел на нас и протянул:

– Ну, ладно! Может, я совсем дураком стал! Что-то мне непонятно все это. Ну, я поехал.

– Что же ты, Василий Петрович, сейчас делаешь?

– Еще работаю. Еще приносит Курятников пользу. Недавно ушел из Планетария, не поладил там немножко с этими психопатами астрономами. А сейчас меня взял к себе Саботаев Коля. Он теперь в районе заведует пивными – американками, а я – его заместителем. Ничего, еще услышите обо мне!

Но последние слова Курятников произнес очень уж вялым голосом. Видно, он не верил в свое будущее.

1936

Фельетоны, статьи, речи

В золотом переплете

Когда по радио передавали «Прекрасную Елену», бархатный голос руководителя музыкальных трансляций сообщил:

– Внимание, товарищи, передаем список действующих лиц:

1. Елена – женщина, под прекрасной внешностью которой скрывается полная душевная опустошенность.

2. Менелай – под внешностью царя искусно скрывающий дряблые инстинкты мелкого собственника и крупного феодала.

3. Парис – под личиной красавца скрывающий свою шкурную сущность.

4. Агамемнон – под внешностью героя скрывающий свою трусость.

5. Три богини – глупый миф.

6. Аяксы – два брата-ренегата.

Удивительный это был список действующих лиц. Все что-то скрывали под своей внешностью.

Радиослушатели насторожились. А руководитель музыкальных трансляций продолжал:

– Музыка оперетты написана Оффенбахом, который под никому не нужной внешней мелодичностью пытается скрыть полную душевную опустошенность и хищные инстинкты крупного собственника и мелкого феодала.

Распаленные радиослушатели уже готовы были броситься с дреколем на всех этих лицемеров, чуть было не просочившихся в советское радиовещание, а заодно выразить свою благодарность руководителю музыкальных трансляций, столь своевременно разоблачившему мене-лаев, парисов и аяксов, когда тот же бархатный голос возвестил:

– Итак, слушайте оперетту «Прекрасная Елена». Через две-три минуты зал будет включен без предупреждения.

И действительно, через две-три минуты зал был включен без всякого предупреждения. И послышалась музыка, судя по вступительному слову диктора:

а) никому не нужная,

б) душевно опустошенная,

в) что-то скрывающая.

Удивлению простодушного радиолюбителя не было конца.

Вообще трудно приходится потребителю художественных ценностей.

Когда от радио он переходит к книге, то и здесь ждут его неприятности. Налюбовавшись досыта цветной суперобложкой, золотым переплетом и надписью «Памятники театрального и общественного быта – мемуары пехотного капитана и актера-любителя А. М. Сноп-Ненемецкого», читатель открывает книгу и сразу же сталкивается с большим предисловием.

Здесь он узнает, что А. М. Сноп-Ненемецкий:

а) никогда не отличался глубиной таланта;

б) постоянно скользил по поверхности;

в) мемуары написал неряшливые, глупые и весьма подозрительные по вранью;

г) мемуары написал не он, Сноп-Ненемецкий, а бездарный журналист, мракобес и жулик Танталлов;

д) что самое существование Сноп-Ненемецкого вызывает сомнение (может, такого Снопа никогда и не существовало) и е) что книга тем не менее представляет крупный интерес, так

как ярко и выпукло рисует нравы дореволюционного актерского мещанства, колеблющегося между крупным феодализмом и мелким собственничеством.

Вслед за этим идет изящная гравюра на пальмовом дереве, изображающая двух целующихся кентавров, а за кентаврами следует восемьсот страниц текста, подозрительных по вранью, но тем не менее что-то ярко рисующих.

Читатель растерянно отодвигает книгу и бормочет:

– Говорили, говорили и – на тебе – опять включили зал без предупреждения!

Постепенно образовалась особая каста сочинителей предисловий, куда еще не оформленная в профессиональный союз, но выработавшая два стандартных ордера.

По первому ордеру произведение хулился по возможности с пеной на губах, а в постскриптуме книжка рекомендуется вниманию советского читателя.

По второму ордеру автора театральных или каких-либо иных мемуаров грубо гримируют марксистом и, подведя таким образом идеологическую базу под какую-нибудь елизаветинскую старушку, тоже рекомендуют ее труды вниманию читателя.

К этой же странной касте примыкают бойкие руководители трансляций и конференсье, разоблачающие перед сеансом таинственные фокусы престижитаторов, жрецов и факиров.

И потребитель художественного товара с подозрением косится на книгу. Сноп-Немецкий разоблачен и уже не может вызвать интереса, а в елизаветинскую старушку, бодро поспевающую под знамя марксизма, поверить трудно.

И потребитель со вздохом ставит книжку на полку. Пусть стоит. Все-таки, как-никак, золотой переплет.

1932

Мне хочется ехать

Человек внезапно просыпается ночью. Душа его томится. За окном качаются уличные лампы, сотрясая землю, проходит грузовик; за стеной сосед во сне вскрикивает: «Сходите? Сходите? А впереди сходят?» – и опять все тихо, торжественно.

Уже человек лежит, раскрыв очи, уже вспоминается ему, что молодость прошла, что за квартиру давно не плачено, что любимые девушки вышли замуж за других, как вдруг он слышит вольный, очень далекий голос паровоза.

И такой это голос, что у человека начинает биться сердце. А паровозы ревут, переговариваются, ночь наполняется их криками – и мысли человека переворачиваются.

Не кажется ему уже, что молодость ушла безвозвратно. Вся жизнь впереди. Он готов поехать сейчас же, завернувшись в одно только тканьевое одеяло. Поехать куда попало, в Сухиничи, в Севастополь, во Владивосток, в Рузаевку, на Байкал, на озеро Гохчу, в Жмеринку.

Сидя на кровати, он улыбается. Он полон решимости, он смел и предприимчив, сейчас ему сам черт не брат. Пассажир – это звучит гордо и необыкновенно!

А посмотреть на него месяца через два, когда он трусливой рысью пересекает Каланчевскую площадь, стремясь к Рязанскому вокзалу. Тот ли это гордый орел, которому сам черт не брат!

Он до тошноты осторожен.

На вокзал пассажир прибегает за два часа до отхода поезда, хотя в мировой практике не было случая, чтобы поезд ушел раньше времени. (Позже – это бывает.)

К отъезду он начинает готовиться за три дня. Все это время в доме не обедают, потому что посуду пассажир замуровал в камышовую дорожную корзину. Семья ведет бивуачную жизнь наполеоновских солдат. Везде валяются узлы, обрывки газетной бумаги, веревки. Спит пассажир без подушки, которая тоже упрятана в чемодан-гармонию и заперта на замок. Она будет вынута только в вагоне.

На вокзале он ко всем относится с предубеждением. Железнодорожного начальства он боится, а остальной люд подозревает. Он убежден, что кассир дал ему неправильный билет, что носильщик убежит с вещами, что станционные часы врут и что его самого спутают с поездным вором и перед самым отъездом задержат.

Вообще он не верит в железную дорогу и до сих пор к ней не привык.

Железнодорожные строгости пассажир поругивает, но в душе уважает, и, попав в поезд, сам не прочь навести порядок.

Иной раз в вагоне на верхней полке обнаруживается великий паникер.

– Почему вы поете? – говорит он, свесивая голову вниз. – В вагоне петь нельзя. Есть такое правило.

– Да я не пою. Я напеваю, – оправдывается пассажир.

– Напевать тоже нельзя, – отвечает паникер. – И вообще, если хотите знать, то к пению приравнивается даже громкий разговор.

Через пять минут снова раздается голос паникера.

– Если открыть тормоз Вестингауза, то за это двадцать пять рублей штрафа и, кроме того, показательный суд.

– Но ведь я не собираюсь открывать тормоз! – пугается девушка, отворачиваясь от змеиного взгляда паникера.

– Не собираетесь, а все-таки убрали бы локоть подальше. Сорвется пломба, тут вам и конец. Да и весь вагон по головке не погладит, такое правило.

Этот же голос спустя минуту:

– Нет, нет, гражданин, раму спускать нельзя. С завтрашнего дня вступает в силу осеннее расписание.

– Но ведь погода замечательная. Двадцать два градуса тепла.

– Тепло теплом, а расписание своим порядком.

– Позвольте, но ведь вы сами говорите, что новое расписание только завтра начнет действовать!

– А мы его сегодня применим. На всякий случай. Закройте, закройте! Не задохнетесь!

Через два часа в вагоне говорят уже только шепотом, сидят, выпрямив плечи и сложив руки на коленях.

А с верхней полки раздается равномерное ворчанье.

– Не курить, не плевать, не собирать в житницы! Есть такое правило! Уборную свыше трех минут не занимать, в тамбурах не стоять, в Девятый вал не играть! Есть такое правило!

Но какой реванш берут пассажиры, когда паникер, побежав за кипятком, опаздывает на поезд и гонится за ним, размахивая чайником. Пассажиры радостно опускают рамы и кричат несчастному:

– Ходить по шпалам строго воспрещается! Есть такое правило!

Но больше всего правил на вокзалах.

Правила были придуманы на все случаи жизни, но применялись они как-то странно.

Пассажира уговаривали не пить сырой воды, но не предлагали кипяченой. Запрещали сорить на пол, но не указывали, куда бросать мусор.

И когда вокзалы превратились в грязные сараи, долго жаловались на пассажиров:

– Вот людоеды! Сидят на полу, когда рядом висит правило: «Сидеть на полу строго воспрещается».

Положение коренным образом изменилось, когда чудное правило сняли, а вместо него поставили длинные деревянные диваны. И странно – никто уже не сидел на полу, хотя правило исчезло.

Все прочие повелительные изречения заменили предметами материальной культуры, и дикий, казалось, пассажир превратился в чистенького кроткого ягненка с розовым галстуком на шее.

Удивительное превращение!

И теперь ночью, заслыша паровозный гудок и воображая себе блеск и грохот высокого вокзала, видишь не взбудораженные толпы мечущихся по перрону людей, а чинно шествующих людей, которых познакомили наконец с самым важным и нужным правилом:

ПЛОХО ОТНОСИТЬСЯ К ПАССАЖИРАМ СТРОГО
ВОСПРЕЩАЕТСЯ.

1932

Сделал свое дело и уходи

Вы никогда не задумывались над тем, кто первый провозгласил поражающее своей краткостью и довольно-таки грубоватое изречение:

«Не курить, не плевать».

Кто выдумал все эти категорические, повелительные надписи:

«Вход воспрещается».

«Без дела не входить».

«Спускай за собой воду».

Откуда все это? Что это? Народная мудрость? Или беззаветная любовь к порядку? Или попросту полезное административное мероприятие?

Однако все приведенные тексты и заповеди, несомненно, вызваны необходимостью и не нуждаются в подкреплении доказательствами. В самом деле, если бы в московском трамвае курили бы! Да еще плевали бы! – совсем бы скучная была езда! Или, положим, входит в учреждение человек, а зачем пришел и сам не знает, без дела. Такого не грех пугнуть надписью. Или – вошел, сделал свое дело и не уходит. Сидит как проклятый. И, наконец, есть такие вурдалаки, которые стараются увильнуть от заповеди насчет спускания воды. Как быть с ними?

Нет. Положительно все эти надписи нужны. И интересует нас не их содержание, а самый стиль. У кого это так счастливо отлилась столь молодецкая безапелляционная форма? Кто он, создатель комхозовских афоризмов?

Сейчас, кажется, все сомнения разрешены.

Путем длительного и всестороннего исследования нам удалось найти автора, проследить его литературный путь и ознакомиться с его последними произведениями.

Обеспечив нашу страну изречениями, кои вывешиваются в местах общего пользования, автор увидел, что создал все потребное в этой области, и быстро переключился на работу критика-искусствоведа.

Он не изменил себе. Он по-прежнему краток, сохранил трамвайную категоричность и административную безапелляционность. И по-прежнему считает излишним подкреплять свои молодецкие афоризмы доказательствами.

Местом своей деятельности он избрал журнал «Бригада художников» и тотчас же (в № 5–6) разрешил все вопросы советской архитектуры. Сделано это в подписях к снимкам новых зданий.

Итак, фотография.

Подпись: «Клуб „Красный пролетарий“. Производит впечатление приморского ресторана. Специфичность рабочего клуба не выявлена совсем».

Это все о здании клуба «Красный пролетарий». Больше ничего не сказано.

Никаких доказательств! «Производит» и «не выявлено». А почему? Неизвестно! Просто: «Не курить, не плевать».

Еще фотография. Еще подпись:

«К. Мельников. Клуб „Свобода“. Очередной трюк «отца» советского формализма – цистерна, зажата между пилонами».

Ну, хорошо. Отец так отец. Очередной трюк? Верим на слово! (Кстати, по фотографии судить нельзя, показан не весь клуб, а только его часть.) Давайте же бороться с «отцом» советского формализма! Но хотелось бы получить хоть какое-нибудь обоснование для предстоящей тяжелой борьбы с «отцом». Но обоснования нет. Критик, очевидно, не имеет никаких мыслей по этому поводу. Иначе, если бы они шевелились в его голове, он бы их высказал, вместо того чтобы безобразно и повелительно орать:

– Вход воспрещается!

Дальше изображен Дом правительства в Москве, сфотографированный так, что на переднем плане оказался фонарь с площадки бывшего храма Христа.

Подпись:

«Дом Правительства на Берсеневской набережной. Фонарь в стиле „ампир“ хорошо гармонирует с домом, показывая неприемлемость данного объекта для искусства СССР».

Точка. Объект неприемлем. Обвинение тяжелое. Мы готовы даже допустить, что справедливое, предварительно узнав, в чем дело. Но положение безнадежное. «Не задавай кассиру вопросов».

После такой лаконичной и беспардонной критики обхаянному архитектору остается одно – снять лиловые подтяжки и повеситься на том самом фонаре в стиле «ампир», который «так хорошо гармонирует с домом». Хорошо, что фонарь снесли уже вместе с храмом, и жизнь архитектора покуда в безопасности.

Иногда, очень редко, критик хвалит. Но хвалит он как-то противно и бездоказательно, по той же форме № 1 – «Соблюдай очередь».

«Дом Стройкома на Гоголевском бульваре. Фасад с переулка. Стеклянные стаканчики приятно акцентируют высокий фасад, лишая его элементов корбюзиянизма».

Зная тяжелый характер критика, не будем задавать ему надоедливых вопросов – «почему да почему», почему «приятно», почему «лишают»? От него толку не добьешься.

Обратимся прямо к редакции.

– Товарищи редколлегия, дорогие товарищи (по алфавиту) Вильяме, Вязьменский, Дейнека, Кондраков, Малкин, Моор, Мордвинов, Новицкий, Перельман, Соколов-Скаля и Точилкин! Не считаете ли вы, что критик уже сделал свое дело и ему давно пора уйти из журнала? Не бойтесь! Вперед! Ведь вас много (если считать по алфавиту), а он один. Его очень легко взять врасплох. Подстерегите его, когда он будет сочинять очередные трамвайно-архитектурные выпады, схватите его (вас так много!) и унесите из редакции.

И, главное, не забудьте проследить, чтобы он обязательно спустил за собой воду. Так теперь принято в новых домах, будь они со стеклянными стаканчиками или в виде цистерны, сжатой между пилонами.

1932

Человек в бутсах

Человек, пробиравшийся по учрежденскому коридору, не был похож на обыкновенного посетителя. И взгляд у него был не робкий, и одежда была какая-то не совсем обыкновенная – пальто с желтым кожаным воротником, каракулевая кепка и голубоватые футбольные бутсы, однако без шипов.

Высокомерно расталкивая секретарей, он без доклада вошел в кабинет главы учреждения. Вошел как раз в ту минуту, когда там происходило летучее совещание.

Все недовольно повернули головы, а глава учреждения даже издал некий гневный звук – не то «пошел вон», не то «прошу садиться».

– Может быть, я помешал? – спросил человек в бутсах.

– У нас летучка, – грубо заметил глава.

– Тогда я могу уйти.

– Хорошо. Идите.

Человек поправил на голове каракулевую кепку и, грозно улыбаясь, молвил:

– Я ухожу. Но, уж будьте любезны, всю ответственность берите на себя. Возлагаю ее на вас.

Это было сказано так торжественно, словно незнакомец собирался возложить на главу учреждения жестяной могильный венок с муаровыми лентами.

Глава испугался. Он терпеть не мог ответственности, а потому торопливо сказал:

– В чем же дело? Садитесь, товарищ.

Человек выбрал стул получше и начал:

– Как, по-вашему? Нужно проводить технику в массы?

– Нужно.

– Может быть, не нужно? Вы скажите откровенно. Тогда я уйду.

– Почему же не нужно! Я ведь с вами согласился сразу.

– Нет, – сказал незнакомец. – Я вижу, что вы против технической пропаганды. На словах вы все за, а на деле... Положительно придется возложить ответственность на вас.

Он подумал и прибавил:

– А также на летучее совещание. Я ухожу.

И тут всем сидевшим в кабинете явственно представился страшный могильный венок. Так было хорошо, все тихо сидели, обменивались мнениями, пили чай, никому не причиняли зла – и вдруг пришел ужасный незнакомец.

– Честное слово, – сказал глава, – мы всей душой...

– Всем сердцем, – беспокойно подтвердили члены летучего совещания.

Однако незнакомец с кожаными отворотами долго еще капризничал и ломался.

– Нужно организовать театр технической пропаганды, – сказал он наконец. – Понимаете?

Никто ничего не понял, но пришелец быстро все растолковал.

Это будет театр, построенный на совершенно новых началах. Пьеса уже есть. То есть не совсем еще есть, но скоро будет. Замечательная пьеса о моторах. Пишет ее он сам, человек в бутсах. Актеров не будет. Декораций тоже не будет. Вообще ничего не будет, и поэтому беспокоиться совершенно не о чем. Нужно только помещение и немного денег, тридцать тысяч. Всю ответственность он, человек в каракулевой кепке, берет на себя. (Вздых облегчения.)

– Одно меня только смущает, – сказал глава, – где взять помещение и тридцать тысяч?

– Нет, вижу, мне придется уйти, – сухо молвил незнакомец. – У меня не может быть ничего общего с людьми, которые смазывают важнейший вопрос о технической пропаганде. А ответственность возлага...

Все бросились за незнакомцем, лепеча различные жалкие слова. Сразу нашлось и помещение, и тридцать тысяч, и еще какие-то четыре тысячи для выдачи аванса артели гардеробщиков при будущем театре. В панике забыли даже узнать фамилию незнакомца. Долгое время считали, что его фамилия Лютиков, но потом оказалось, что вовсе не Лютиков, а Коперник, только не тот, а совершенно неизвестно кто.

Лютиков-Коперник в течение трех месяцев приходил к главе, садился на его стол и, покачивая ножками, обутыми уже не в бутсы, а в штиблеты на каучуковом ходу, требовал денег.

– Скоро премьеру покажем, – говорил он. – Будет замечательно. Декораций нет, актеров нет, ничего нет. Спектакль идет без суфлера.

– Как же это без суфлера? – страдальчески вопрошал глава.

– Нет, Яков, недооцениваешь ты технической пропаганды, – отвечал Коперник. – Что-то ты смазываешь.

– А пьеса как называется?

– Без названия. В этом весь трюк. Названия не будет, реквизита не будет, ни черта не будет. Замечательно будет. Первый такой театр в мире. Гордись, Яков. Тебя театральная общественность на руках носить будет. Тебя сам Литовский заметит.

– А ответственность?

– Беру на себя.

Постановка немножко затянулась против поставленных сроков, но все же через семь месяцев от начала великой борьбы за новое начинание в области техпропаганды Лютиков-Кюперник объявил премьеру.

Пригласительные билеты он принес лично. На этот раз он был в розовом пальто с кенгуровым воротником и почему-то держал в руке чемоданчик.

Премьера началась ровно в восемь часов вечера.

Занавеса не было. Реквизита не было. Декораций не было. Актеров не было. На пустой, грязноватой сцене стояло деревянное веретено.

– Скоро начнем, – объявил Лютиков. – Вы тут посидите, товарищи, а я сейчас приду.

Поглядев минут десять на веретено, глава учреждения зажмурился и вспомнил, что этот прибор он видел недавно в опере «Фауст», музыка Гуно. Тогда за этим веретеном сидела Гретен, а где-то неподалеку трепался Фауст. Теперь к веретену никто не подходил.

Внезапно на сцену вышла старушка в очках и сказала:

– Итак, ребята, это веретено употреблялось в феодальную эпоху и является прообразом современного ткацкого станка. Сейчас, ребята, мы пойдем в фойе и посмотрим чертежи этого прообраза нынешней техники.

Кашляя и сморкаясь, все учреждение повалило в коридор и уставилось на чертеж ручной швейной машинки. Но старушка, вместо того чтобы продолжать объяснения, подошла к главе и, заливаясь слезами, объявила, что ей еще ни разу не платили жалованья и замучили репетициями.

– А как же Лютиков? – оторопело спросил глава. – Где он?

Организатора неслыханного театра бросились искать. Глава учреждения вдруг вспомнил, что последние дни Лютиков не расставался с чемоданом. От страха глава даже покачнулся.

– Может, поискать его среди декораций? – спросил секретарь.

– Найдешь его теперь! Ведь декораций нет.

А Лютиков-Коперник уже стоял в здравотдельском кабинете и говорил:

– Медицину в массы. Путем театрального воздействия. Понимаете? Актеров нет, суфлера нет, гардероба нет. Театр инфекции и фармакологии. Можно сокращенно назвать «Тиф». Нужно только помещение и немного денег. Что? Тогда я уйду. Но уж ответственность...

Заведующий ошалело слушал и таращил добрые глаза.

1932

Пятая проблема

Есть неумирающие темы, вечные, всегда волнующие человечество.

Например, наем дачи или обмен получулана без удобств в Черкизове на отдельную квартиру из трех комнат с газом в кольце «А» (телефон обязательно), или, скажем, проблема взаимоотношений главы семейства со свояченицей, или покупка головки для примуса.

И никак нельзя разрешить все эти важные проблемы. Дачник всем сердцем стремится на Клязьму, поближе к электропоезду, а дачный трест грубо посылает его на реку Пахру, в бревенчатую избушку, добраться до которой труднее, чем до Харькова. Горемычный хозяин получулана никак не может сговориться с обитателем отдельной квартиры в кольце «А», хотя переговоры с необыкновенным упрямством ведутся через «Вечернюю Москву». Что касается свояченицы, то половые разногласия здесь настолько велики, что их не удастся разрешить даже отдельным представителям ВАПП. А головка для примуса – это вообще глупая фантазия домашней хозяйки, которой кооперация дает вежливый, но чрезвычайно холодный отпор.

Несколько лет назад к даче, получулану, свояченице и примусным частям прибавилась новая неразрешимая проблема – кинохроника.

Это была странная проблема. Вокруг нее было много шума. Но никогда она не вызывала споров. Напротив, трудно найти проблему, по поводу которой существовало бы столь редкое единодушие.

Все были за кинохронику.

«Давно пора», – писала пресса.

– О, – говорили председатели киноправлений, – кинохроника!

– Жизнь отдам за кинохронику, – обещал директор фабрики.

Консультанты тоже были за и даже без оговорок, что с их стороны нельзя не признать большой жертвой.

Об операторах и говорить нечего. Они рвались в бой.

Зрители же вели себя выше всяких похвал. Они требовали хронику. Они стучали ногами, свистели, писали письма в редакции газет, посылали делегации.

Одно время казалось, что в результате всех этих усилий стране грозит опасность наводнения хроникой. Боялись даже, что кинохроника вытеснит все остальные жанры киноискусства.

Однако обнаружилось, что эти жанры благополучно существуют. Афиши бесперебойно объявляли о новых художественно-показательных боевиках с минаретами, медвежьими свадьбами, боярышнями и хромыми барами.

А хроники не было. А годы шли.

Стали искать врага хроники. Раздавались голоса, что не худо бы дать кой-кому по рукам. Впопыхах дали по рукам какому-то кинодеятелю в расписной заграничной жилетке, случайно проходившему по коридору Союзкино. Но тут же выяснилось, что это страшная ошибка, что человек в жилетке всей душой за хронику, в доказательство чего он представил пятнадцать собственных статей и еще большее количество протоколов на папиросной бумаге.

Тогда набросились на администрацию кинотеатров. Ее обвинили в том, что из вредного коммерческого расчета она тормозит дело показа кинохроники.

Но администраторы в тот же день доказали, что именно они и являлись главными борцами за кинохронику и даже застрельщиками всего этого дела.

– Ничего не понимаю, – сказал новый председатель правления. – И мой предшественник, и я, мы оба всегда были горячими защитниками хроники. А ее нет.

– Ведь я жизнь обещал отдать за кинохронику, – удивлялся директор фабрики, – и вот на тебе!

Правда, это был не тот директор, а пятый по счету, но он уже в день приема дел обещал отдать жизнь.

– По линии хроники, – печально говорили консультанты, – у нас большое отставание. Но мы не виноваты. Мы всегда были за.

И они привезли на трех извозчиках такую кучу оправдательных документов, что правление ахнуло и с перепугу перевело этих консультантов в высший разряд тарифной сетки.

Даже те отдельные работники кинематографии, которых судебные органы на некоторое время изолировали от общества за различные плутни, – и те из своих жилищ, снабженных на всякий случай решетками, слали письма:

«Что было, то было. Но чего не было, того не было. Мы всегда были горой за хронику».

Все стало как-то так непонятно и удивительно, что о хронике на время даже перестали говорить. Иногда вдруг на экране проскакивали кусочки хроники. А потом и это прекратилось.

И так как все были за, то оказалось, что бороться не с кем и можно перейти к очередным делам. Остались только горячие доклады и протоколы на папиросной бумаге.

Сейчас в кинопрессе снова раздался трезвый голос:

– Товарищи, где же все-таки кинохроника?

И мы уже знаем, что будет. Начнется суета, пойдут клятвы, обнаружится полное единодушие, и все это закончится тем, что хроники никто не увидит.

А работу надо поставить так: бросить разговоры о хронике и начать ее делать. Это, конечно, странно, непривычно и, может быть, на первый взгляд даже диковато.

Но другого средства нет.

Если же продолжать систему болтовни вхолостую, то хроника по-прежнему останется в ряду «вечных проблем», вроде найма дачи или обмена плохой квартиры на хорошую, с уплатой какой-то подозрительной задолженности и с согласием идти на какие угодно варианты.

Горю – и не сгораю

Спокойно и величаво жила в своей квартире стандартная дореволюционная бабушка. Дверь квартиры была обита войлоком и блестящей зеленой клеенкой. Была на двери еще большая гербовая бляха с надписью: «Горю – и не сгораю». Застраховано от огня в об-ве «Саламандра». Больше всего в жизни бабушка боялась, что ее мебель сгорит. Бабушка уважала свою мебель.

Здесь царил буфет, огромный дубовый буфет с зеркальными иллюминаторами, с ост-роконечными шпилями-башенками, нишами, с барельефными изображениями битой дичи, виноградных гроздьев и лилий. Цоколь буфета был рассчитан на такую невероятную тяжесть, что на нем без опасения можно было бы установить конный памятник какому-нибудь Скобелеву. Буфет походил на военный собор, какие обычно строили при кадетских корпусах и юнкерских училищах, и был разукрашен цветными пупырчатыми стеклами. Грандиозен был буфет, и тем не менее его полки и ящики были так малы, что вмещали только чайный сервиз. Остальная посуда стояла на буфетной крыше, за шпилями и башенками, и покрывалась пылью.

На большом столе лежала парадная бархатная скатерть с бомбошками по углам. Вообще у бабушки все было с бомбошками. Драпри с бомбошками, гардины с бомбошками, пуфы с бомбошками. Эти разноцветные плюшевые шарики приводили котов в ярость. Они постоянно их подстерегали, хватили когтями и раскачивали. Стол был так же величествен и бесполезен, как буфет. За него никак нельзя было сесть. Коленки постоянно сталкивались с какими-то острыми дубовыми украшениями, и смельчак, пытавшийся было использовать стол по его прямому назначению, тотчас же отскакивал от него, яростно растирая ладонью ушибленное место.

Был еще стол – малый, бамбуковый – зыбкое сооружение, предназначенное для семейного альбома с толстой плюшевой крышкой и медными застежками величиной в складские засовы. Но достаточно было сдвинуть альбом хотя бы на миллиметр вправо или влево от геометрического центра, как равновесие нарушалось, и столик валился на атласную козетку.

Бабушке очень нравилась козетка, нравилась главным образом красотой форм, так сказать гармоничностью линий. Странная это была штука! Для лежания она не годилась – была слишком коротка. Не годилась она и для сидения. Сидеть мешали главным образом гармоничность линий и красота форм. Мастер предназначил ее для полулежания, совершенно не учтя, что такое небрежно-аристократическое положение тела допустимо только в великосветских романах и в жизни не встречается. Так что на козетке обычно лежала кошка, да и то только в те редкие минуты, когда бомбошки не раскачивались.

Повсюду стояли длинные, вытянутые в высоту, и узкие вазочки для цветов с толстой стеклянной пяткой. Они походили на берцовую кость человека и вмещали только по одному цветку. Цветки были бумажные. Висели картинки неизвестных старателей-акварелистов в рамках в виде спасательных кругов, в рамках из ракушек, бамбуковых палочек или из багета с золотыми листочками. На шатких этажерках могли помещаться только фарфоровые слоны, мал мала меньше.

Удивительная это была мебель! Она не только не приносила пользы человеку, но даже ставила его в подчиненное, унижительное положение. В своих резных выступах, углах, барельефах и загогулинах она собирала чертову уйму пыли и паутины. Постоянно надо было за мебелью ухаживать, просить гостей на нее не садиться. Кроме того, ее надо было страховать от огня. Не ровен час – сгорит!

– Никогда я не буду жить, как моя бабушка! – восклицал иной внук, больно ударяясь о стол большой или опрокидывая стол малый. – Вырасту – заведу совсем другую мебель, удобную, простую, а эта дрянь – хорошо, если бы сгорела.

И она действительно сгорела. Случилось то, чего бабушка боялась больше всего на свете.

В восемнадцатом и девятнадцатом и даже в двадцатом году внук обогрелся бабушкиной мебелью. С наслаждением отрубал он от стола его львиные лапы и беспечно кидал в «буржуйку». Он особенно хвалил соборный буфет, которого хватило на целую зиму. Все пригодилось: и башенки, и шпили, и разные бекасы, а в особенности многопудовый цоколь. Горели в печке бамбуковые столики, этажерки для семи слонов, кои якобы приносят счастье, дурацкие лаковые полочки, украшенные металлопластикой, и прочая дребедень, которую внук для краткости называл «гаргара» или «бандура».

С тех пор ушли годы, внук вырос, сделался сперва молодым, а потом уж и не очень молодым человеком, обзавелся комнатой в новом доме и наконец решил приобрести мебель, о которой мечтал в детстве, – удобную и простую.

Он стоял перед огромной мебельной витриной универмага Мос торго, по замыслу заведующего изображавшей, как видно, идеальную домашнюю обстановку благонамеренного советского гражданина.

Если бы внук не сжег в свое время бабушкину мебель собственными руками, то подумал бы, что это именно она и стоит за зеркальной стеной магазина.

Здесь царил буфет, коренастый буфет, с вырезанными на филёнках декадентскими дамскими ликами, с дрянными замочками и жидкими латунными украшениями. Были на нем, конечно, и иллюминаторы, и ниши, и колонки. А на самом верху, куда человек не смог бы дотянуться, даже став на стул, неизвестно для чего помещалось сухаревское волнистое зеркало. Перпендикулярно буфету стояла кровать, сложное сооружение из толстых металлических труб, весьма затейливо изогнутых, выкрашенных под карельскую березу и увенчанных никелированными бомбошками. (Бабушка была бы очень довольна, – она так любила всякие бомбошки!)

Кровать была застлана стеганым одеялом. Одеяло было атласное, розовое, цвета бедра испуганной нимфы. Оно сразу превращало кровать, эту суровую постройку из дефицитного металла, в какое-то ложе наслаждений.

Был здесь и диванчик для аристократического полулежания, в чем, несомненно, можно было бы усмотреть особенную заботу о потребителе. Был и адвокатский диван «радость клопа» со множеством удобных щелей и складок, с трясущейся полочкой, на которой лежал томик Карла Маркса (дань времени!), и этажерка на курьих ножках, и стол, под который никак нельзя подсунуть ноги.

Была бы жива бабушка, она сейчас же с радостным визгом поселилась бы в этой витрине. Так здесь было хорошо и старорежимно. Все как прежде. Вот только Маркс! Впрочем, Маркса можно заковать в плюшевый переплет с медными засовами и показывать гостям вместо семейного альбома.

– А это вот Маркс! Видите! Тут он еще молодой, даже без усов. А вот тут – уже в более зрелых годах.

– Смотрите, довольно прилично одевался. А это что за старичок?

– Это один его знакомый. Энгельс по фамилии.

– Ничего, тоже приличный господин.

И текла бы за мосторговской витриной тихая, величавая бабушкина жизнь.

С поразительным упорством работает наша мебельная промышленность на ветхозаветную дуру бабушку! На рынок с непостижимой методичностью выбрасывается мебель того нудного, неопределенного, крохоборческого стиля, который можно назвать банковским ампиром, – вещи громоздкие, неудобные и чрезвычайно дорогие.

Из существующих в мире тысяч моделей шкафов древтресты облюбовали самую тоскливую, так называемый «славянский шкаф». Заходящие в магазины «советские славяне», а именно: древляне, поляне, кривичи и дреговичи, а также представители нацменьшинств, советские половцы, печенеги, хозары и чудь белоглазая, первым долгом тревожно спрашивают:

– Скажите, а других шкафов у вас нету?

– Других не работаем, – равнодушно отвечает древтрестовский витязь. – А что, разве плохо? Типа «гей, славяне!». Все равно возьмете. Ведь выбора нету.

Выбора действительно нет. Потребитель вынужден уродовать новое жилье безобразной мебелью. Он покупает низкорослые ширмы, которые ничего не заслоняют, но зато ежеминутно падают. Он везет на извозчике гадкий, рассыхающийся уже по дороге комодик с жестяными ручками. Письменные столы изготавливаются или только канцелярские, сверхъестественно скучные, или крохотные дамские, больше всего пригодные для маникюриши. Обыкновенных полок для книг достать нельзя. Их не делают. Но зато есть полочки, предназначенные для предметов, которые должны украшать жилье.

Вот, кстати, эти предметы искусства:

1. Гипсовая статуэтка «Купающаяся трактористка» (при бабушке эта штука называлась «Утренняя нега»).

2. Толстолицый немецкий пастушок, вымазанный линючими красками.

3. Кудреватый молодой человек с хулиганской физиономией играет на гармонике. Гипс.

4. Пепельница с фигурками: а) охотник, стреляющий уток; б) бегущая собака; в) лошадиная морда.

5. Чернильный прибор, могучий агрегат, сооруженный из уральского камня, гранитов, хрусталя, меди, никеля и высококачественных сталей. Имеет название: «Мы кузнецы, и дух наш молод». Лучший подарок уезжающему начальнику. Цена – 625 рублей 75 копеек.

И когда слышатся робкие протестующие голоса, начальники древтрестов и командующие статуэтками и чернильными приборами отчаянно вопят:

– Вы не знаете потребителя! Вы не знаете условий рынка! Рынок этого требует!

А кричат они потому, что привыкли работать на стандартную дореволюционную старуху, законодательницу Сухаревских вкусов и мод.

И в силу этой пошлейшей инерции новому человеку приходится жить среди свежестроенных бабушкиных мебели и украшений.

1932

Когда уходят капитаны

Заказчик хочет быть красивым.

От портного он требует, чтобы брюки ниспадали широкими мягкими трубами. От парикмахера он добивается такой распланировки волос, чтобы лысина как бы вовсе не существовала в природе. От писателя он ждет жизненной правды в разрезе здорового оптимизма.

Таков заказчик.

Ему очень хочется быть красивым. Он мучится.

– Кто отобразит сахароварение в художественной литературе? – задумчиво говорит сахарный командующий. – О цементе есть роман, о чугунах пишут без конца, даже о судаках есть какая-то пьеса в разрезе здорового оптимизма, а о сахароварении, кроме специальных брошюр, – ни слова. Пора, пора включить писателей в сахароваренческие проблемы.

Секретарю поручают подработать вопрос и в двадцать четыре часа (иногда в сорок восемь) мобилизовать писательскую общественность.

– Я полагаю, – сообщает секретарь, – что нам надо идти по линии товарищеского ужина. Форма обычная. Дорогой товарищ... то да се... ваше присутствие необходимо.

Решают пойти именно по этой линии, тем более что сахар свой, а остальные элементы ужина можно добыть при помощи натурального обмена с другими учреждениями.

Список приглашенных составляется тут же.

– Значит, так: Алексей Толстой, Гладков, Сейфуллина, потом на Л... ну, который «Сотьсаранчуки»... да, Леонов. Еще Олеша, он это здорово умеет. Парочку из пролетарских поглавнее, Фадеева и Афиногенова на предмет пьесы. Для смеха можно Зоценко, пусть сочинит чего-нибудь вроде «Аристократки», но в разрезе сахарной свеклы. Хорошо бы еще критика вовлечь. Они пусть пишут, а он их пусть тут на месте критикует.

– И подводит базу.

– Да, и, конечно, базу. Пишите какого-нибудь критика. Явка обязательна.

И вот плетется курьерша с брезентовой разносной книгой. И солнце светит ей в стриженный затылок. И весна на дворе. И все хорошо.

Еще немножко – и загадочный процесс сахароварения будет наконец отображен в художественной литературе.

Но на земле нет счастья. Вечером выясняется, что произошел тяжелый, непонятный прорыв.

Стоит длинный стол, на столе – тарелочки, вокзальные графинчики, бутерброды, незаконно добытые при помощи натурального обмена, семейные котлеты и пирожные.

Все есть. А писателей нет. Не пришли. Подло обманули. Дезертировали с фронта сахароварения.

Секретарь корчится под уничтожающими взглядами начальства. Мерцают бутерброды с засохшим сыром. Ах, как плохо!

– Кто ж так делает? – неожиданно говорит заведующий хозяйством. – Кто ж так мобилизует творческий актив? Вы сколько человек пригласили? Тридцать? И никто не пришел? Значит, нужно пригласить триста. И придет человек десять. Как раз то, что нам нужно. А бутерброды можно sprysnutь кипятком. Будут как живые.

– Позвольте, откуда же взять триста? Разве есть так много... художников слова?

– Ого! Вы не знаете, что делается! Один горком писателей может выставить три тысячи сабель! А все роскомдрам? А малые формы? Это же Золотая орда! Нашествие Батыя! А Дом самодеятельности имени Крупской? Это же неиссякаемый источник творческой энергии! Они вам все чисто отобразят. Идите прямо в Дом Герцена и кройте приглашения по алфавиту. А о бутербродах не беспокойтесь. Подадим как новенькие.

Так и делают. Искусство требует жертв.

На этот раз в уютном конференц-зале сахарного заведения становится довольно людно. Правда, Алексей Толстой, Фадеев и многие другие опять подло обманули, но все-таки кое-кто пришел. Имен что-то не видно, но все-таки имеется здоровяк в капитанской форме с золотыми шевронами. Да и другие как-то вызывают доверие. Они еще не очень знаменитые, но среди них есть один в пенсне, – как видно, писатель чеховского толка.

В общем, можно начинать прения.

– Вот вы тут сидите и ни черта не делаете, – сразу начинает здоровяк в капитанской форме, – а между тем происходят события огромной важности. Мейерхольд сползает в мелкобуржуазное болото! Если я человек живой, так сказать, сделанный из мяса, я этого так не оставлю.

Он говорит долго и убедительно. Главным образом о Мейерхольде. Ему аплодируют.

– А сахароварение? – робко спрашивает секретарь.

– Какое к черту сахароварение, – сердится писатель, – когда, с моей точки зрения, сейчас главное – это маринизация литературы!

И он уходит, злой, коренастый и симпатичный.

Как-то незаметно ускользают и другие. Остаются только трое, в том числе писатель в пенсне, чеховского толка.

Их мало, но зато это не люди, а клад.

Они со всем соглашаются. Да. Их интересует сахароварение. Да. Они уже давно мечтали включиться. Мало того. Они желают сейчас же, немедленно приступить к разрешению практических вопросов.

Например:

а) куда ехать (хорошо бы поужнее);

б) сколько за это дадут (вы понимаете, специфика вопроса);

в) можно ли получить натурой (сахаром, патокой и мясом).

Это чудные, отзывчивые люди. Уж эти отобразят. Непонятно только, зачем им сахар. Впрочем, – может быть, они хотят получше изучить самую, так сказать, продукцию. Это интересно. Пусть изучают.

Писатель чеховского толка требует еще сапоги, теплые кальсоны и пятьсот штук папирос «Норд». Это уже труднее, но завхоз обещает устроить.

Они очаровательные люди – Ж. Н. Подпругин, Ал. Благословенный и Самуил Децембер (Новембер).

Тихо смеясь, они покидают банкетный зал. И в то время как добрые сахаровары обмениваются впечатлениями, хвалят литературу и толкуют об идеалах, Подпругин, Благословенный и Децембер (Новембер) катят в трамвае. Держась за ремни и раскачиваясь, они кричат друг другу:

– Знатная малина!

– Мировая кормушка!

– Ну! Кормушка не кормушка, а лежбище глупых тюленей. Только и знай, что ходи и глуши их гарпуном!

– Ах, какого маху дал! Можно было сорвать еще бобриковое пальто «реглан ВЦСПС». Ах, забыл! Ах, дурак! Они бы дали!

– Глубинный лов я уже отобразил. Отобразю и сахарный песок. А роман можно назвать «Герои рафинада».

И все трое смеются журчащим русалочьим смехом. Они все понимают. Это промышленники, зверобои, гарпунщики.

Пусть другие кипятятся, говорят о мировоззрении, о методе, о метафоре, даже о знаках препинания. Гарпунщику все равно. Он сидит на очередном товарищеском ужине в очередном

учреждении и, достойно улыбаясь, помешивает ложечкой чай. Пусть литературные капитаны говорят высокие слова. Это размагниченные интеллигенты. Гарпунщик знает их хорошо. Они поговорят и уйдут. А он останется. И, оставшись, сразу приступит к практическому разрешению вопроса. Уж на этот раз он возьмет «реглан типа ВЦСПС» и еще кое-что возьмет. Не дадут маху ни Децембер (Ноямбер), ни Ж. Н. Подпругин, ни Ал. Благословенный.

Осенью они разносят по учреждениям свой литературный товар. Больше всего тут очерков («Герои водопровода», «В боях за булку», «Стальное корыто», «Социалистическая кварта»). Однако попадают и крупные полотна: «Любовь в штреке» (роман, отображающий что-то антрацитное, а может быть, и не антрацитное), «Соя спасла» (драматическое действие в пяти актах. Собственность Института сои), «Веселый колумбарий» (малая форма. По заказу кладбищенского подотдела).

Чудную, тихую жизнь ведут гарпунщики. Печатают они свой товар в таких недостижимых для общественности местах, в таких потаенных бюллетенях, журналах и балансовых отчетах, что никому никогда не докопаться до «Веселого колумбария» или «Стального корыта».

Но есть у гарпунщика слабое место. Сквозь продранный носок видна его Ахиллесова пята. Ежегодно возникает страшный слух, что из горкома писателей будут вычищать всех, кто не напечатался отдельной книгой. Тогда не будут приглашать на товарищеские ужины, тогда будет плохо.

Тут гарпунщик собирает свои разнокалиберные опусы, склеивает их воедино и, дав общее незатейливое название, везет рукопись на извозчике в ГИХЛ.

Вокруг рукописи начинается возня. Ее читают, перетаскивают из комнаты в комнату, над ней кряхтят.

– Ну что?

– Ах, – говорит утомленный редактор, – Исбах далеко не Бальзак, но этот Подпругин такой уже не Бальзак!

– Что ж, забракуем?

– Наоборот. Напечатаем. Отображены актуальнейшие темы. Язык суконноватый, рабочие схематичны, но настроение бодрое, книга зовет. Потом вот в конце ясно написано: «Это есть наш последний».

– «И решительный» написано?

– «И решительный».

– Тогда надо печатать. Книжка, конечно, – заунывный бред, но зато не доставит нам никакого беспокойства. Никто не придерется.

Это – роковая ошибка.

Как только книга гарпунщика появляется в свет и ведомственная литература предстает глазам всех, подымается ужасный крик.

Критика не стесняется в выражениях. Автора называют пиратом, жуликом, крысой, забравшейся в литературный амбар, шарлатаном. Редактора книги снимают с занимаемой должности и бросают в город Кологрив для ведения культработы среди местных бондарей. «Веселый колумбарий» изымают из продажи и сжигают в кухне Дома Герцена (после чего котлеты долго еще имеют препротивный вкус). Разнос происходит страшнейший.

В то же утро бледный, серьезный гарпунщик хватается чемодан, жену и еще одну девушку и уезжает в Суук-Су. Оттуда он возвращается через три месяца, отдохнувший, покрытый колониальным загаром, в полном расцвете творческих сил. О нем уже все забыли.

И в первый же вечер он отправляется на товарищеский варенец, имеющий быть в конференц-зале Москоопхлоопкустсоюза.

Жизнь продолжается.

Заказчиков много. Все хотят, чтобы их отобрали в плане здорового оптимизма.

Все хотят быть красивыми.

1932

Сквозь коридорный бред

Обыкновенный мир. Смоленский рынок. Аптека (молочные банки с красными крестами, зубные щетки, телефон-автомат). Тесная булочная. Лоточники. Милиционер на маленькой трибуне поворачивает рычажок светофора. Все в порядке. Ничто особенно не поражает.

Но в пяти шагах от всего этого, у начала Плющихи, тесно сомкнувшись, стоит кучка людей из другого мира. Они ждут автобуса № 7.

Какие странные разговоры ведут они между собой!

– Да. Ему вырвали двенадцать зубов. Так надо было по режиссерской экспликации. Вставили новые. Фабрике это стоило массу денег, потому что в гослечебнице заявили, что здоровых зубов они не рвут. А частник... Можете себе представить, сколько взял частник?..

– Ну как, обсуждали вчера короткометражку «Чресла недр»?

– Провалили.

– А в чем дело?

– Подача материала при объективно правильном замысле субъективно враждебна. И потом там тридцать процентов нейтрального смеха и процентов двенадцать с половиной не нашего.

– В АРРКе не любят нейтрального смеха. Там за нейтральный смех убивают.

– В общем, Виктору Борисовичу поручили «Чресла» доработать.

– Ну вот, приходит он с новыми зубами в павильон сниматься. Ничего. Начали. Пошли. Улыбнитесь. Улыбнулся. И тут – стоп! Отставить! Не понравилась улыбка.

– Ай-я-яй!

– Да, да. Говорят – не та улыбка. Не чисто пролетарская. Есть, говорят, в этой улыбке процентов двадцать восемь нейтральности и даже какого-то неверия. Со старыми зубами у вас, говорят, выходило как-то лучше. А где их теперь взять, старые зубы?

– А я знаю случай...

– Подождите. Я же еще не сказал самого интересного. По поводу этих самых «Чресл недр» завязался принципиальный спор. Стали обсуждать творческий метод режиссера Слався-Славского. А зима между тем проходит, а по сценарию надо снимать снег, а промфинплан весьма и весьма невыполнен. Тут Иван Васильевич не выдержал: «Раз так, то ваш творческий метод мы будем обсуждать в народном суде».

– А зубы?

– При чем тут зубы? Зубы – это по фильму «И дух наш молод».

Какие странные разговоры!

Расхлестывая весеннюю воду, подходит автобус, и в поднявшемся шуме теряются горькие фразы о чреслах, зубах и прочих кинематографических новостях.

Ехать надо далеко.

По элегантному замыслу строителей московская кинофабрика воздвигалась с таким расчетом, чтобы до нее было как можно труднее добраться. Нужно прямо сказать, что замысел этот блестяще осуществлен.

Автобус доставляет киноработников и посетителей к мосту Окружной железной дороги и, бросив их посреди обширной тундры, уезжает обратно в город.

Киноработники, размахивая руками и продолжая интересную беседу о «Чреслах», совершают дальнейший путь пешком и вскоре скрываются между избами деревни Потылихи. Они долго идут по деревне, сопровождаемые пенем петухов, лаем собак и прочими сельскими звуками, берут крутой подъем, проходят рошу, бредут по проселку, и очень-очень нескоро открываются перед ними величественные здания кинофабрики, обнесенные тройным рядом колю-

чей проволоки. Впечатление таково, будто фабрика Союзкино ожидает неожиданного ночного нападения Межрабпомфильма и приготовилась дать достойный отпор.

Мимо павильона-сторожки, по фасаду которого выведена большая гранитная надпись «Выдача пропусков», все проходят не останавливаясь, так как пропусков здесь не выдают. Выдают их в другой сторожке, на полкилометра дальше, где, однако, о пропусках ничего не сказано. Нет ни гранитной надписи, ни даже извещения, нацарапанного химическим карандашом.

В вестибюле равнодушный швейцар предлагает снять калоши. Посетители с неудовольствием выполняют это требование, но калоши внизу не оставляют, а с независимым видом несут их в руках, чтобы за первым же лестничным поворотом снова их надеть. Так, в калошах, они и бродят весь день по фабрике. Почему они так любят свои калоши? Почему обманывают бедного швейцара и не сдают калоши в гардероб – непонятно. Впрочем, многое странно на кинофабрике.

В коридоре, куда выходит много дверей, стоит, согнувшись, пожилой почтенный человек и смотрит в замочную скважину. Ему хорошо известно, что подглядывать стыдно, но другого выхода у него нет. На двери, над его головой трепещет бумажонка:

ЗДЕСЬ ИДЕТ ЗАСЕДАНИЕ. НЕ СТУЧИ! НЕ МЕШАЙ!

Войти в комнату нельзя, а в ответ на стук раздается недовольный рев. Как же узнать, здесь ли находится нужный работник, из-за которого почтенный посетитель долго ехал в автобусе № 7, шел по деревне, пересекал тундру, останавливался на подъеме, чтобы схватиться за сердце, нес в руках калоши и обманывал бедного швейцара? И стоит он, прильнув к замочной скважине, далеко отставив зад, как водевильный герой, в шубе и шапке. И кашне ниспадает с шеи до самого пола. И все проходящие с проклятиями натываются на него.

В коридоре тоже идет своеобразное заседание. Сюда, в коридор, люди приходят с утра и уходят отсюда только вечером.

Здесь любят и умеют поговорить. Высказываются смелые суждения, критикуются начинания, кого-то ругают, что-то хвалят, без конца обсуждают неудобства географического положения фабрики.

– Говорят, что паводок в этом году будет что надо!

– Опять нас отрежет от города.

– Вот увидите, как только пойдет можайский лед и нас отрежет, бухгалтерия объявит выплату гонорара. Они хитрые. Знают, что никто за ним не сможет приехать из города.

– Ну, я вплавь доберусь!

– Скажите, что же наконец произошло с «Чреслами недр»?

– Очень просто. Автора законсультировали.

– Что это значит?

– Одним словом, залечили.

– Не понимаю.

– Сразу видно, что в кино вас перебросили недавно. Ну, заболевает человек ангиной, а его лечат от тифа. Не помогает. Ставят банки. Не помогает. Делают операцию аппендицита. Плохо. Тогда вскрывают череп. Как будто лучше. Но больной вдруг умирает. Так и с «Чреслами недр». Законсультировали.

– Между нами говоря...

В коридоре неожиданно наступает тишина. Все начинают шептаться. И что же в конце концов произошло с «Чреслами», так и остается невыясненным.

Стены коридора дрожат от слухов и киноанекдотов. Иногда кажется даже, что заседание за закрытой дверью будет продолжаться вечно и что человек в шубе и кашне никогда в жизни не найдет нужного ему работника.

Но есть на фабрике другие коридоры, где никто не толчется, где в комнатах постановочных групп идет работа. Есть огромные павильоны. Там деловой воздух. Он очищен от коридорного бреда. Там не шепчутся, не стоят в сторонке, саркастически обсуждая, справится ли новое руководство с прорывом или не справится.

Там хотят, чтобы прорыва не было. Замысел обрастает декорациями, идет проба актеров, фильм начинает жить.

И когда, выходя оттуда, снова попадаешь в порочный коридор, уже без особенного испуга слушаешь неустанную трескотню неудачников, склочников, маломощных гениев и разобиженных авторов актуального сценария, где изобретатель что-то изобрел, у него это что-то кто-то украл и что из этого вышло.

День кончается.

В полутьме коридора ослепительно сверкает чья-то улыбка. Надо полагать, что улыбается тот самый актер, которому вставили казенные зубы.

Черт возьми! Как будто улыбка в самом деле не на все сто. Есть в ней действительно какой-то небольшой процент нейтральности.

Но это не важно, не страшно. Важно миновать болтовню в коридоре и начать работать.

Как говорят на киноязыке: «Начали, пошли».

Вот это – самое главное.

1932

Детей надо любить

Вечер и ветер. У всех подъездов прощаются влюбленные. Они прощаются бесконечно долго, молчаливо, нежно. Это весна. И когда влюбленные наконец расстаются, она подымается к себе в бедную комнату (так принято по литературной традиции), а он, поправив на голове фуражечку с лакированным козырьком, бредет домой, и губы его по забавной инерции все еще сложены для поцелуя (это уже новость! Как говорит Олеша, распад романной формы).

На мокрых садовых скамейках, где перочинным ножом вырезаны сердца, пробитые аэропланскими стрелами, сидят окаменевшие парочки. Как их много! Они сидят на ступеньках музеев, на гранитных бортах тротуаров, в трамвайных павильонах. И в тишине по всему городу слышится мерное причмокивание, как будто бесчисленные извозчики подгоняют своих лошадок.

И в эти весенние минуты особенно горько думать о детской литературе.

Что ожидает детей, которые, надо полагать, родятся в результате таких вот законных действий населения?

Что они будут читать? Как они начнут познавать мир? Что предложит им чадолюбивый Огиз?

Сейчас папа сажает на колени дошкольное чадо (пусть знают холостые редакторы и авторы, что дошкольное чадо – очень маленькое чадо) и говорит:

– Ну, пигмей, я купил тебе книжку про пожарных. Интересно. Правда? Пламя, факелы, каски. Слушай.

И он, сюсюкая, начинает:

– «Пожарное дело в СССР резко отличается от постановки пожарного дела в царской России...» Ай, кажется, я совсем не то купил. Почему же в магазине мне говорили, что это для пятилетнего возраста?

Родитель ошеломленно смотрит на обложку. Он ожидает увидеть марку Учтехиздата, фирмы солидной, известной изданием специальных трудов. Но нет. «Молодая гвардия». Да и по картинкам видно, что книжка для детей. Пожарные нарисованы в виде каких-то палочек, а из окон горящего здания высовывается желтое пламя, имеющее форму дыни.

Между тем чадо ждет. Оно хочет познать мир.

И, странно улыбаясь, папа откладывает книжку в сторону и быстро произносит старое, проверенное веками заклинание:

– Жилбылубабушкисеренькийкозлик.

Услышав про козлика, дитя смеется каким-то вредным биологическим смехом и машет пухлыми ручонками (не сердитесь на пухлые ручонки – литературная традиция).

Папа чувствует, что творит какое-то темное дело, что воспитывает не в том плане. Он начинает исправлять сказочку кустарным образом:

– Видишь ли, пигмейчик, эта бабушка не простая. Она колхозница. И козлик тоже не простой, а обобществленный.

Однако в душе папа знает, что козлик старорежимный, может быть даже с погонями. Но что делать? Не читать же сыну тяжеловесный доклад о пожарном деле.

– Теперь про котика, – неожиданно требует чадо.

Тут папа шалее. Что это еще за котик? Какими словами говорить о котике? Обобществленный котик? Это уже левый загиб. Просто котик? Беспредметно. Бесхребетно. Непедагогично.

Ужасно трудно! Ужасно!

Или попадется вдруг весело раскрашенная книжонка, где большими детскими буквами напечатано:

Не шалите, ребяташки,
Уважайте тракторишки.
Трактор ходит на врага.
Обрабатывает га,
га, га.
Га, га, га!
Вот так штука,
Ха, ха, ха!

Так как будто все хорошо. Современная тематика. Призыв беречь механизмы («уважайте тракторишки»). Указание на соотношение сил в деревне («трактор ходит на врага»). Новая терминология («обрабатывает га», а не десятину). Есть даже элементы направленного детского веселья («вот так штука, ха-ха-ха»). Не к чему придраться.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.